

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО -
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

БРЕНКВЕЛЛА

1/2017

ВРЕМЕНА

**Литературно-художественный
и общественно-политический
журнал**

Выпуск 1

**Нью-Йорк
2017**

ВРЕМЕНА
Международный литературно-художественный
и общественно-политический журнал

VREMENA
International Journal of Fiction, Literary Debate,
and Social and Political Commentary

Publisher Leon Mikhlin

Editor David Guy

Design and layout Slava Petrakov

Copyright © 2017 Leon Mikhlin

No part of this publication may be reproduced or transmitted
in any form or by any means – electronic, mechanical,
photocopy, or any other – except for brief quotations in printed reviews,
without prior permission from the Publisher.

For any information about obtaining permission to reproduce
selections from the journal, please call 917-922-4153 и 646 -270-9615
or send an email to lbm28w@aol.com и guydmf@yahoo.com

All rights reserved

ISBN: 978-1541323568

Printed in the United States of America

СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ 5

ПОЛИТИКА

100 дней президента Трампа: что ждет Америку и мир? 8

ПРОЗА

ВАЛЕРИЙ БОЧКОВ

Генерал моей памяти 22

ОЛЬГА КУЧКИНА

Ночь стюардессы 55

ВИКТОР НОРД

Две новеллы 116

ДАВИД ГАЙ

Последний полет «Абрека» 140

ПОЭЗИЯ

ГЕННАДИЙ КАЦОВ 45

ДМИТРИЙ БУРАГО 107

МАРК ВЕЙЦМАН 191

ЭЛЛАЙДА ТРУБЕЦКАЯ.....196

ГАРИ ЛАЙТ218

ЭХО ХОЛОКОСТА

ИОСИФ МАНДЕЛЬБРАУТ

«Не убий!» (Еврейская кровь в литовской земле)170

ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ

АЛЕКСАНДР ГОЛЬБИН

Из записок врача-психиатра203

ИМЕНА

ЕВГЕНИЙ ГИК

Глубокие тайны гроссмейстера Тайманова224

СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО...

АЛЕКСАНДР МАТЛИН

Про Сашу и Гришу236

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас в руках первый номер международного литературно-художественного и общественно-политического журнала «ВРЕМЕНА». Новое издание выходит в свет в Нью-Йорке.

Сначала – о названии. Едва его произносишь, как почти автоматически всплывает крылатое латинское выражение: «O tempora! O mores!» («О времена! О нравы!»). Знаменитая фраза Цицерона, на наш взгляд, вполне соответствует тому, что происходит сейчас в нашем беспокойном, турбулентном мире. Да, такие нынче времена.

И одновременно услужливая память подсказывает известные строки поэта Александра Кушнера: «Времена не выбирают, в них живут и...» Но не будем о грустном. Ограничимся экспромтом на злобу дня: «На нас на всех лежит вина, что нынче смутны времена...»

В общем, нам кажется, название нового журнала, философски очерченное, звучит вполне современно, ибо литература есть отражение быстротекущей жизни со всеми ее перипетиями. Как шутил польский острослов Ежи Лец, «правду сказать, мы знаем жизнь только по литературе. Разумеется, за исключением тех, кто не знает литературы».

Обозначим контуры нашего издания. Оно для серьезного, вдумчивого, подготовленного читателя, ищущего не легкого чтения, не пустой развлекательности, а совсем иного. Надеемся, друзья, вас не разочаровать и следовать заявленным курсом без отклонений маршрута. Убеждены: и в «русской» Америке, и в Европе, и, разумеется, в самой России, где с нашим журналом можно будет познакомиться, немало ищущих именно такого чтения, хотя, увы, дружащих с книгой становится все меньше. Это тенденция, вполне объяснимая рядом причин...

Наша цель – предоставить возможность печататься, прежде всего, пишущим по-русски профессиональным литераторам-иммигрантам, живущим во многих странах и далеко не всегда находящим выход своим произведениям в «бумажных» изданиях. Количество таких, прямо скажем, неприбыльных изданий сокращается, значительная часть существует только в Интернете, другие попросту закрываются из-за нехватки средств у владельцев. «Толстые» литературные журналы не могут существовать без спонсорской подпитки, без участия филантропов. С их стороны это определенная смелость и отчасти риск – деньги ведь можно потерять. Такой энтузиаст – один из нас, Леон Михлин, ньюйоркский бизнесмен, пробующий себя в литературе, взваливший на себя нелегкую ношу издателя журнала «**ВРЕМЕНА**».

Разумеется, наши страницы будут предоставлены и российским авторам, в особенности тем, у кого сложности с публикациями в родной стране по причине негласной цензуры и уже не скрываемой самоцензуры редакторов и издателей. В первом номере обратите внимание на роман московской писательницы Ольги Кучкиной «Ночь стюардессы», посвященный взаимоотношениям Путина и его бывшей жены Людмилы. Эту прозу никто не решился печатать. Да и открывающая наш первый номер антиутопия известного прозаика Валерия Бочкова о захвативших власть в Москве мусульманских террористах вряд ли легко найдет путь к российским читателям, хотя два его предыдущих остро-провокативных романа, против ожидания, осмелилось выпустить издательство «Эксмо». Теперь же книги Бочкова замалчивают, СМИ сплошь и рядом отказываются публиковать рецензии и пр.

Иными словами, то, что нельзя прочесть в России, вы сможете увидеть на наших страницах. Это еще одно, важнейшее направление нового журнала.

«О, дух словесности российской, ужель навеки отмерцал ты?» – в сомнении задавал вопрос себе и читателям Борис Чичибабин в самом начале 90-х годов, опасаясь за судьбу русской литературы, оказавшейся в загоне. Четверть века минуло с той поры, русская литература по-прежнему жива, хотя и не родила выдающихся произведений – посмотрим правде в глаза.

Одно из бытующих мнений – она, дескать, никому не нужна в диаспоре, здесь все меньше людей, берущих в руки русскую книгу, чтение – удел пожилых, молодые если и читают, то по-английски... Хочется верить, что само существование такого журнала, как наш, покажет, что русская культура жива и востребована. Станет ли успешным такое издание, обретет ли большое число подписчиков, зависит, прежде всего, от нас, его создателей, наших авторов и от вас, читателей. Ваша поддержка нам крайне необходима...

В год будут выходить четыре выпуска объемом 250 страниц и более. Основные жанры: проза, поэзия, публицистика, критика, очерки, литературные портреты, семейные архивы, юмор. Журнал станет поднимать острые социальные проблемы. Надеемся на открытие дискуссионного клуба. Для нас чрезвычайно важны ваши, друзья, письма и сообщения по электронной почте. Без обратной связи мы не мыслим существования. Пишите, сообщайте свои мнения по поводу прочитанного, советуйте, предлагайте, критикуйте – за это в ответ только большое спасибо. Подборки ваших писем и сообщений найдут выход на наших страницах.

Некоторые важные детали.

Журнал «ВРЕМЕНА» (четыре номера) распространяется по подписке, стоимость на 2017 год – 50 долларов, включая почтовые расходы по отправке экземпляров.

Журнал будет присутствовать на крупнейшем российском портале ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ, где можно ознакомиться с его содержанием и прочитать основные тексты.

По вопросам подписки обращайтесь по тел **646-270-9615** или на электронный адрес: **guydmf@yahoo.com**

Итак, мы начинаем. Надеемся, друзья, на ваше заинтересованное и доброжелательное отношение.

ЛЕОН МИХЛИН, издатель

ДАВИД ГАЙ, редактор

P.S. Мы благодарим писателя, художника, дизайнера Валерия Бочкова за идею и воплощение обложки нашего журнала.

100 ДНЕЙ ТРАМПА: ЧТО ЖДЕТ АМЕРИКУ И МИР?

Содержащийся в заголовке вопрос вовсе не выглядит риторическим – от ответа на него зависит очень многое. Ведь речь идет о самой могущественной стране, начавшей утрачивать в последние годы свое величие. Увы, ответа покамест не знает никто.

Завершившиеся в США президентские выборы не имеют аналогов. Это утверждение стало уже общим местом. Не было дотоле такой нервной и грязной кампании, такого количества популистских лозунгов, не было такого бесстыдного перетряхивания и нарочитой демонстрации грязного исподнего кандидатов, таких взаимных оскорблений, не было столь явно не оправдавшихся прогнозов СМИ и социологических служб, наконец, не было такого удручающего для Хиллари Клинтон и счастливого для Дональда Трампа итога: она набрала на 2 миллиона голосов избирателей больше, но по количеству выборщиков президентом стал он. И ни разу не было, чтобы другое государство (по всем признакам, Россия) так беззастенчиво и нагло вмешивалось в американские выборы, чтобы поддержать кандидата в президенты с пророссийской внешней политикой.

Все это уже в прошлом. После инаугурации начинается отсчет первых 100 дней президентства Трампа – в Америке это тот срок, по которому традиционно начинают судить об истинных намерениях и возможностях нового обитателя Белого Дома. Что же ждет Америку и мир?

«Не надо на него давить...»

Какие только предположения и оценки не звучали в прессе и на телевидении, в статьях и интервью!.. Голова кругом идет. Чаще всего они полярны, как говорится, кто за здравие, кто за упокой.

Скажем, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер сказал следующее: «Избранный президент – уникален. Я не встречал ничего подобного. Нет политического багажа. Нет обязательств перед какой-нибудь группой, потому что он стал президентом благодаря своей собственной стратегии и своей собственной программе, которую предложил американскому избирателю... С моей точки зрения, в нынешней ситуации не следует загонять его в те позиции, обозначенные в ходе его кампании, на которых он не настаивает. Если он разработает другую программу, не надо на него давить...»

Норвежский профессор социологии Юхан Галтунг, известный тем, что предсказал распад Советского Союза и теракты 11 сентября, прогнозирует чуть ли не крах мирового могущества США. Галтунг сказал сайту Motherboard, что избрание Трампа «ускоряет упадок», однако признал, что «надо посмотреть, что он сделает как президент».

Главными угрозами для стабильности в мире в 2017 году являются выборы в Европе и внешняя политика нового президента США Дональда Трампа. Об этом сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на данные ежегодного опроса под названием «Справочник пессимиста», в котором приняли участие 146 аналитиков, экономистов и стратегов.

Перечисляются риски, волнующие экспертов. Так, наибольшую опасность в Европе в ближайшие годы, по мнению аналитиков, представляет череда выборов в Европе, в том числе во Франции и Германии. Во Франции, по мнению Bloomberg, в 2017 году на президентских выборах победит Марин Ле Пен, которая устроит референдум о выходе страны из Евросоюза – «Фрекзит». В Германии Ангела Меркель проиграет выборы...

На втором месте по степени глобальных рисков эксперты назвали внешнюю политику нового президента США Дональда Трампа. При этом 38% аналитиков поставили возможные действия будущего главы Белого дома на первое место по степени опасности. На днях Трамп был признан «самым большим риском для мировой экономики», по данным клиентского опроса, проведенного аналитическим центром Oxford Economics.

...Между прочим, внешняя политика президента РФ Владимира Путина оказалась в числе угроз лишь на третьем месте – такое мнение высказали почти 60% опрошенных.

Кто на новенького?

После победы Трамп ускоренными темпами начал формировать свою команду. И здесь сюрприз за сюрпризом. Среди предложенных для утверждения Конгрессом кандидатур на ключевые посты – в подавляющем большинстве отставные генералы и крупные бизнесмены, главы корпораций. Среди наиболее спорных фигур – глава нефтяного концерна ExxonMobil Рекс Тиллерсон. Во многих отношениях это феноменальная и раздражающая личность.

Тиллерсон, которому 64 года, никогда не занимал политических должностей, хотя обладает большим багажом политических контактов. Самым ценным контактом является, пожалуй, кремлевский. Тиллерсон выстроил довольно стабильные отношения с Владимиром Путиным, которые напоминают отношения Путина с Герхардом Шредером. Также американец тесно связан с доверенным лицом Путина, главой нефтегазового концерна «Роснефть» Игорем Сечиным. В прошлом глава ExxonMobil обсуждал с Путиным и Сечиным ряд крупных нефтяных проектов.

В 2013 году Путин наградил Тиллерсона орденом «Дружбы народов». Что бы ни говорили, даже при полном уходе из Exxon новый госсекретарь будет заинтересован в российских проектах концерна, замороженных из-за санкций. Недаром он заявлял о возможной отмене или ослаблении этих самых санкций. Налицо конфликт интересов. Утвердит ли на посту госсекретаря такую спорную фигуру Конгресс? Критических голосов будет немало, прежде всего, Маккейн и Рубио. Но учтем: не было случая, чтобы президент не продавил свою кандидатуру на этот ключевой пост...

Что касается будущего министра обороны, то генерал Джеймс Н. Мэттис считает, что Россия «чрезвычайно опасна», а Путин, возможно, «бредит». В то же время будущий советник по нацбезопасности Майкл Флинн, до самого недавнего времени тесно связанный с Кремлем, считает главной угрозой не Россию, а радикальный ислам. «Избранный президент Дональд Трамп и его будущий министр обороны придерживаются решительно противоположных взглядов на российского президента. Это потенциально создает противоречие в политике по вопросу о том, как вести себя с ним», – анализирует газета «Вашингтон таймс».

О назначениях Трампа можно говорить долго, они весьма своеобразны, как и сам президент. Но нельзя не поддержать его в отношении лидеров крупнейших фирм, которых президент пригласил в состав Совета по вопросам бизнеса. Всего в Совете 16 человек, среди них главы IBM, PepsiCo, Disney, General Electric, General Motors, самых успешных компаний высоких технологий из Силиконовой долины и др. Участники совета будут делиться с Трампом опытом и знаниями.

То самое лекарство

«Если не обращать внимания на личные качества и предысторию Дональда Трампа, а смотреть только на его экономическую программу, то его победа на выборах, положительная реакция рынков и возможность нового «экономического чуда» перестают удивлять», – пишет известный экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин.

«Экономические планы Трампа – центристская комбинация лучших предложений справа и слева, и это, не исключено, то самое лекарство, которого не хватало американской экономике.

Два основных симптома – во-первых, медленный, по сравнению с прошлыми десятилетиями, рост. (Устойчиво самый быстрый среди развитых стран, впрочем). Во-вторых, уже сорок лет медианный реальный доход не растет – экономика развивается, производительность и прибыли растут, а значительная часть населения живет так же, как десятилетия назад.

Трамп предлагает снижение налогов, сохранение социальных расходов и дерегулирование. Поддержка Конгресса по этим вопросам ожидается. Рейгановская, можно сказать, программа, только Рейган занимал деньги под 8-10% годовых, а Трамп сможет под 1-2%. А, можно сказать, мечта левых центристов, Сандерса-Кругмана – кейнсианское стимулирование, потому что в дополнение к снижению налогов (один фискальный стимул) предполагаются масштабные инвестиции в инфраструктуру (другой фискальный стимул) – строительство магистралей, мостов, аэропортов пр. Именно это рекомендует в нынешней ситуации Пол Кругман, один из интеллектуальных лидеров «левых центристов».

Дерегулирование – среди прочего, снятие ограничений на добычу и экспорт нефти и газа, снижение требований к загрязнению окружающей среды, отмена разных правил и стандартов. Трампу будет это легко проводить, потому что большая часть мер, введенных Обамой, была сделана его указами, в обход Конгресса. А это значит, что и отменить их можно просто, указом.

Стимулирование экономики должно помочь росту, но рост, как показало наше время, может не поднимать благосостояния простых граждан. Об этом должен позаботиться основной пункт всей избирательной программы Трампа – изоляционизм в отношении международной торговли и иммиграции. Как и любая страна, Америка в целом проиграет от торговых барьеров, но эти потери невелики (вся торговля – малая часть ВВП США, вот и Пол Кругман подтверждает, что автаркия не навредит), а вот перераспределительный выигрыш (одной части населения за счет другой) будет в пользу этих вот простых сторонников Трампа. Будет ли он значительным – не уверен, но хоть какая-то забота»...

То, о чем говорит Сонин, отражено в трамповской программе «100 дней». Перечислим некоторые, ради детализации.

- Сократить количество федеральных служащих.
- На каждую новую федеральную регулируемую норму будут отменяться две действующие. Регулирующие нормы убивают нашу страну и наши рабочие места, считает Трамп.
- Президент пересмотрит условия Соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли. Эти договоренности, подписанные Биллом Клинтонем, он считает одними из худших для Америки.
- Заявит о выходе Америки из Транс-Тихоокеанского партнерства.
- Даст указания министру финансов объявить Китай валютным манипулятором. Трамп считает, что валютные игры нанесли Америке большой ущерб.
- Все иностранные компании, которые злоупотребляют законом и вредят американским работникам, окажутся под американским и международным судами.
- Снимет ограничения на добычу энергоресурсов. Политик

подсчитал, что в казну США это принесет \$50 триллионов и создаст много рабочих мест.

- Будет продвигать вперед энергетические инфраструктурные проекты. Будет достроен трубопровод «Кистоун» и многое другое.

- Закон о налоговых льготах и упрощенном налогообложении для среднего класса. Добиваться этого Трамп будет с помощью масштабного снижения и упрощения налогов в сочетании с торговой реформой, ослаблением регулирования и снятием ограничений на американскую энергетику. Серьезно сократит налоги для среднего класса. Семья среднего класса с 2 детьми получит уменьшение налогов примерно на 35%. Классификацию налогоплательщиков упростит, снизит количество групп с 7 до 3. Формы декларации упростит тоже. Налог на коммерческую деятельность будет снижен с 35% до 15%.

- Постарается вернуть деньги американских компаний из-за рубежа, а это триллионы долларов.

- Установит пошлины, которые станут для компаний стимулом не переводить производство в другие страны, увольняя рабочих, а остаться дома, в Америке.

Не будем наивными – почти все из намеченного невозможно выполнить за три месяца. Многие вообще не будут реализованы в полном объеме. (Касается это и борьбы с нелегальной иммиграцией, строительства пресловутого пограничного забора с Мексикой и др.) Однако направление деятельности администрации Трампа в целом обнадеживает. Хотя, разумеется, корректировки придется вносить существенные, жизнь сама подскажет – какие. Особенно это касается возвращения рабочих мест домой, в Штаты.

Вот несколько примеров. Трамп договорился с руководством Apple о возвращении рабочих мест из Китая в Америку. Прекрасно! Но тут же глава Apple заявил, что за год, два и даже за пять лет сделать такое будет крайне затруднительно. «В Китае на сборке наших изделий заняты 30 тысяч обученных, квалифицированных работников, в основном, девушек. В США у нас нет такой обученной рабочей силы. Ее надо готовить. К тому же, придется платить работникам больше, нежели в Китае, следовательно, произойдет удорожание нашей продукции».

Вот избранный президент торжественно объявляет: он «усердно трудился» над тем, чтобы не допустить закрытия завода Форда в Луисвилле и перевода его в Мексику, и результат налицо: «...Мне позвонил мой друг Билл Форд и сообщил, что он оставит завод в Кентукки – никакой Мексики». «Нью-Йорк таймс» по этому поводу сообщает, что «Форд» и не собирался закрывать завод в Луисвилле. Он переводит в Мексику производство спортивного автомобиля Lincoln MKC, а в Кентукки, наоборот, увеличивает производство Ford Escape. Недавно команда Трампа отрапортовала о другой своей победе: компания по производству кондиционеров не будет переводить свой завод из Индианаполиса в Мексику! Договоренность уже успел поприветствовать лидер республиканского большинства в нижней палате, фактический глава партии Пол Райан, некогда суровый судья Трампа. Но «Вашингтон пост» заключает слово «победа» в кавычки: переводить не будет, но оплата труда рабочих сократится.

Трампутинизм

Теперь коснемся важности взаимоотношений лидеров двух стран, США и России, от чего будет зависеть многое в мире. Да, две крупнейшие ядерные державы, находящиеся в конфронтации – это бесспорный факт. Множество публикаций на тему Трамп-Путин, однако, не углубляются в суть, а топчутся вокруг общеизвестных моментов, да еще и делая из Трампа дурака.

Вот мнение Александра Гольдфарба, главы фонда Литвиненко в Лондоне:

«Что нужно Путину от Трампа?»

Отмена санкций

Признание аннексии Крыма

Сохранение Асада

Респект

Что нужно Трампу от Путина?

Сотрудничество в уничтожении Исламского г-ва (которое и так уже на пути к гибели).

Сотрудничество в отмене ядерной сделки Обамы с Ираном

(что выгодно больше Путину, т.к. может привести к повышению цен на нефть).

*То есть получается сдача всех позиций в обмен на ничто.
Ничего себе, «расчетливый бизнесмен!»»*

В реальности все гораздо сложнее. Скажем, Европа против отмены санкций в отношении России, ЕС продлил их еще на полгода. В такой ситуации с места в карьер переть на Германию, Францию и другие страны, настаивая на отмене санкций?.. Как-то не верится, что наш новоиспеченный лидер начнет свою деятельность с ссоры с союзниками, как бы он не критиковал их за малые, по его мнению, вложения средств в НАТО и слепую приверженность глобализму. А самое главное, с какой стати делать такой подарок Путину? Чем он заслужил? Путину, как представляется, почти нечего предложить Трампу. Совместную борьбу с терроризмом? Невеликий стимул. Очевидно, что в то время, как Путин крайне заинтересован в уступках со стороны Трампа, у Трампа нет объективного интереса к всестороннему сотрудничеству с Путиным. Мы полагаем, переговоры двух лидеров окажутся гораздо жестче, чем представляется. И Трамп не собирается идти на заведомые уступки. (Очень хочется в это верить!)

Впрочем, администрация избранного президента США Дональда Трампа не включила Россию в список главных угроз национальной безопасности Соединенных Штатов. Об этом сообщила Foreign Policy со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении издания.

Среди высказываний на эти темы особняком стоит мнение публициста и кинорежиссера Тиграна Хзмаляна, создающего в Армении движение «Европейский выбор». Давно не приходилось читать столь неожиданный, оригинальный по аргументации и мыслям текст. Познакомим с ним читателей журнала «Времена».

«Пока либерально-демократическая общественность во всем мире не может оправиться от результатов президентских выборов в США, каждый новый день приносит все новые доказательства кардинально изменившейся картины мира и шкалы ценностей.»

Многие ищут объяснения причин наступившей реакции

в личных качествах лидеров новой мировой политики – Дональда Трампа и Владимира Путина. Ибо с большой долей определенности сегодня уже можно утверждать, что Трамп – это подсознательный ответ Америки на феномен Путина. При этом схожесть риторики, цинизма и релятивизма двух политиков дает основание назвать это явление современной общественной жизни именно их именами, или, для краткости, одним общим термином – трампутинизм.

Под этим понятием объединен достаточно широкий спектр событий и процессов: нынешнее всемирное торжество демагогии над демократией, национализма над толерантностью, изоляционизма над открытостью. Тот факт, что описываемые явления характерны для целого ряда стран – от Турции до Греции, от Британии до Венгрии, от Франции до Филиппин – лишь подтверждает этот вывод. И уж, конечно, это исключает объяснение причин происходящего только лишь совпадением характеров и личных свойств политических лидеров современного мира.

В самом деле – Владимир Путин в начале своего президентства вполне вписывался в общеевропейские представления о чиновнике-технократе, а Дональд Трамп до последнего времени довольствовался репутацией эксцентричного шоумена. Мессианские претензии этих и других «вождей» не могли бы проявиться без широкого общественного спроса на эту риторику и политику, который они инстинктивно почувствовали, а либерально-демократические элиты проигнорировали.

Но есть еще одна, возможно, решающая причина политического триумфа трампутинизма – экономический фактор. Об этом мы и поговорим.

Общим местом в мировой печати стали сравнения Путина с Гитлером: от газетных карикатур до анализа сходств их идеологии и стилистики. Однако, эти аналогии остаются поверхностными, если они не проецируются на главное, что объединяет этих политиков – поддержка их позиций со стороны крупного промышленного капитала. И здесь аналогии с Германией начала 30-х годов поистине впечатляющи.

Сейчас общепринятым является мнение, что приход Гитлера к власти стал реакцией Германии на поражение в 1-й мировой войне

и, особенно, на унижительные и разорительные условия Версальского договора. Катастрофическое падение производства и уровня жизни, рост цен и безработицы к 1930-му году поставили Германию на грань экономического и социального коллапса, когда лишь радикальные способы изменения ситуации казались людям действенными и приемлемыми. Не случайно политическое поле Германии почти поровну было поделено между коммунистами и фашистами, которые с одинаковой ненавистью относились к немногочисленным демократическим силам.

Дряхлеющий и безвольный канцлер Гинденбург утратил контроль над ситуацией. И тогда в игру вступили главные действующие персонажи – промышленные и финансовые монополисты Германии: Тиссен, Крупп, Стиннес, Маннесманн, Флик. 27 января 1932 года они в узком кругу встретились с Гитлером и гарантировали ему полную поддержку для прихода к власти и «наведения порядка». Канцлеру Гинденбургу был предъявлен фактический ультиматум, и ровно через год тот отказался от власти в пользу Гитлера.

Замените теперь поражение Германии в Первой мировой войне на распад СССР, германских банкиров на российских, Гинденбурга на Ельцина, 33-й год на 99-й – и вы получите точный сценарий «воцарения» Путина.

Резонно в таком случае спросить – хорошо, «путинизация» России общеизвестна, а эксплуатация химер о восстановлении СССР стала почти официальной политикой Кремля, но при чем тут США? Америка ведь не проиграла, а выиграла «холодную войну», Обама вывел страну из кризиса 2008 года, в общем, усилил американскую экономику... – откуда же тогда взялся Трамп?

Вульгарный марксизм, сводящий все многообразие и сложность мира к экономике, стал бы в тупик. Но экономика отнюдь не точная наука, как представлялось некогда ее бородатым пророкам. Экономика в огромной степени зависит от психологии, социологии, демографии, от политических технологий и манипуляций массовым сознанием. Давно известно, что достаточно умело состряпанной сплетни или провокации, чтобы разрушить любую репутацию, любой банк, или даже экономику целого государства. Это хорошо осознали в России, критически зависящей от цены на нефть и ее

колебаний... Однако в США, да и в других странах промышленно развитого Запада, сработали несколько иные механизмы общественно-политических изменений.

Если очень кратко, буквально в двух словах попытаться охарактеризовать происходящее в мире, в том числе и то, что я обозначил как «трампутинизм», то можно воспользоваться старым определением Олвина Тоффлера: *Future Shock*, столкновение с будущим.

В одноименной книге 1970 года этот выдающийся социолог и футуролог диагностировал общественный и индивидуальный кризис сознания, вызванный физической и психологической неспособностью личности и масс адаптироваться к слишком резким изменениям, происходящим слишком быстро. Если Тоффлер описывал синдром послевоенного поколения, столкнувшегося в 60-е годы с ростом массового производства и потребления, с вездесущим телевидением и рекламой, с молодежной культурой рок-н-ролла и наркотиков, со стандартизацией и ускорением темпов жизни, то сейчас, полвека спустя, мир столкнулся с будущим в гораздо более радикальной форме. Это будущее, наступившее уже сегодня в виде Интернета и всеобщей компьютеризации, социальных сетей и тотальной доступности информации, постиндустриальных технологий и отмирания традиционных средств и способов производства.

Приведем пару примеров для наглядности.

Если вынуть из кармана или сумки обычный смартфон, доступный сейчас практически каждому жителю планеты, и положить его на стол, а затем на тот же стол начать выкладывать все приборы, предметы и приспособления, которые он заменяет, то перед нами окажутся: телефон, печатная машинка, фотоаппарат, кинокамера, записная книжка, альбом с фотографиями, калькулятор, компас, географические карты любой части света, весь комплект многотомной Британской (или любой другой) энциклопедии, все книги всех библиотек за всю историю человечества, все газеты и журналы, изданные сегодня или в любой день и год, все кинофильмы и телепередачи, созданные в последние сто лет, все игры и картины, все музыка и поэзия, все биржевые сводки и прогнозы погоды, все календари и все часы всего мира...

Ни на одном столе, ни в одной комнате, ни в одном здании не поместится все то, что каждый из нас носит в своем кармане или своей сумочке.

А теперь представьте все те заводы и фабрики, всех тех рабочих и инженеров, все отрасли промышленности и экономики, что производили всю эту кучу инструментов, приборов, аппаратов, механизмов и вещей, которые вдруг стали попросту ненужными и лишними с появлением этого маленького приспособления – смартфона. Как сказано в одном индийском мифе – миллион богов покончили самоубийством, когда родился Будда.

Но миллионы и миллиарды людей хотят жить и работать, есть и развлекаться, как и раньше. И столкновение с будущим в виде карманного смартфона они переносят на других людей – и ищут виновных в своих проблемах. И, конечно, находят. Потому что в этот момент всегда появляется некто, обещающий всем все вернуть на место, раздать все «по справедливости».

У этого «некто» могут быть усики и челка или борода с лысиной, может быть белокурая шевелюра или бледная плешь. Это неважно. Важно то, что этот «некто» обещает. А так как обещания надо выполнять – на первых порах ему в этом помогут. Обычно помощники эти себя не афишируют и широкие массы о них так ничего и не узнают. Ибо массы хотят видеть вождей, а не вожжи.

Но для понимания механизмов происходящего мы обязаны заглянуть за кулисы и опознать дергающих за эти вожжи и веревочки. Для этого обратимся ко второму примеру.

Лет двадцать назад всю обширную территорию «третьего мира» – от бывшего СССР до Китая и от Африки до Латинской Америки обуяла неожиданная «фотомания». Внезапно на каждом углу стали открываться фотостудии, в каждой лавке продавались дешевые фотоаппараты-«мыльницы», вплоть до копеечных одноразовых «камер» из картона, заправленных одной фотокассетой. Поищите – наверняка и у вас в дальнем ящике еще пылится такая «мыльница» – карманное надгробье на могиле эпохи фотопленки. Ибо истинное значение происходившего тогда – это тайный сговор двух гигантов фотоиндустрии – фирм «Кодак» и «Фюджи» – с целью задержать распространение цифровых видеотехнологий для того,

чтобы распродать огромные залежи уже произведенной фотопленки, век которой закончился с появлением «цифры».

Все это пленочное половодье длилось года три-четыре, а затем исчезло так же внезапно, как и появилось. Фотопленка была продана. Началась эра digital. А теперь спроецируйте все это на сегодняшний день, только замените фотопленку на нефть, а «Кодак» и «Фюджи» на «Эксон Мобил», «Шелл», «Шеврон», «Бритиш петролеум», «Стандарт ойл», да еще на «Газпром» и «Роснефть». Представьте, что вполне еще себе мощные и богатейшие нефтяные корпорации (смотри список выше), а к ним в придачу еще два десятка государств, живущих исключительно на доходы от продажи той же нефти, вдруг сталкиваются с экзистенциальной угрозой своему благосостоянию и самому существованию – в виде новой технологической революции. Речь не о каком-то цифровом видео – а о электромобилях «Тесла» и солнечных панелях Илона Маска, о водородных двигателях «Тойоты», об альтернативной энергетике, которая в считанные годы отменяет и разоряет те самые нефтяные корпорации, а еще почти все автомобильные компании мира, все угольные шахты и нефтеперерабатывающие заводы, а еще Россию и Саудовскую Аравию, Венесуэлу и Иран, Алжир и Ливию, Кувейт и Катар, Оман и ОАЭ. Лишь представьте, что сейчас стоит на кону и какие ставки готовы сделать эти игроки. И если вы можете это представить, то легче понять истинный масштаб происходящего ныне.

...Путин оказался естественным союзником транснациональных нефтяных картелей, потому что он хочет того же, что и они – остановить время и прогресс, отложить внедрение новых революционных технологий и «зеленой энергетике», продлить 20-й век и отсрочить наступление 21-го...

И поэтому им понадобился Трамп. И поэтому им нужен Путин. Ведь врагом настоящего является не прошлое, а будущее. Не Путин им страшен, а Маск, «Тесла», солнечная энергетика. Какая дьявольская символика – разбогатевшие на черной подземной жиже боятся и борются с Солнцем!

Предвидим несогласие определенной группы наших читателей, особенно с тем, что Трамп и Путин по воле Хзмаяна оказались в

одной упряжке. У них разные цели, возразите вы: один стремится к процветанию Америки, другой – исключительно к личной выгоде, пожизненному сохранению власти, и кроме того, к реализации той картины мира, которая ему лично дорога. Тем не менее, 37% республиканских избирателей, поддержавших Трампа, положительно относятся к Путину, а значит, и к его агрессивной внешней политике. Барак Обама по этому поводу воскликнул: «Если бы об этом узнал Рейган, он бы в гробу перевернулся!..» И еще. Как вы, господа, все-таки объясните назначение госсекретарем США нефтяного магната, а вовсе не человека с дипломатическим опытом? Очень многое в нашем мире завязано на нефть, пока не появится ее заменитель. Сколько еще ждать?».

Эта статья печатается на правах редакционной

Валерий БОЧКОВ

ГЕНЕРАЛ МОЕЙ ПАМЯТИ

Мы публикуем отрывок из заключительного романа трилогии лауреата «Русской премии» Валерия Бочкова, живущего в Вашингтоне. В первых двух – «Харон» и «Коронация зверя» – автор рассказывает, что могло бы стать с Россией, если бы президента убили. Кто бы неминуемо пришёл к власти. Что бы делало смиренное стадо псевдопатриотов, именуемых гражданами. И что бы попыталась сделать жалкая кучка несогласных с данным положением вещей. Именно – что бы она попыталась сделать, потому что действительно что-то сделать было бы абсолютно невозможно. Обязательно найдутся люди, желающие хоть что-то изменить, но их неизбежно подведут отсутствие плана, камера пыток и смерть.

В заключительной книге-антиутопии в Москва уже орудуют террористы...

Страх? Да не было никакого страха. И сейчас тоже нет. Я тебе, друг мой любезный, так скажу: страх – самое паскудное на свете чувство. Самое никудышное. Трусом быть – самое распоследнее дело. Ведь трус он не только дрефло и заячья душа, он ведь ещё и дурак – трус по дури всегда погибает первым или его свои же расстреливают. После боя... Ты вот только не путай трусость с осторожностью. Осторожность, друг мой милый, это совсем другая материя. Совсем другая.

Да и чем ты, друг мой, рискуешь? Жизнью? Но ведь есть на свете вещи и поважнее жизни...

1

Отчего дед обращался ко мне в мужском роде, мне так и не удалось выяснить, он умер тридцать три года назад. Сейчас и отсюда, этот временной отрезок – тридцать три года – кажется неизмеримо значительней – лет сто, двести, может, другая жизнь, иная галактика. Впрочем, «сейчас и отсюда» всё выглядит как другая галактика.

Почему вспомнился дед? Из-за роз? Да, наверняка из-за роз. После психушки у меня появилась идиотская привычка анализировать свои мысли, искать причинно-следственную связь. Я наблюдала за садовником, подрезающим розы. Старый таджик, тощий, с кирпичного цвета босыми ногами, на нём какая-то белая хламида, похожая на бабье исподнее, и нелепая шапочка вроде детской тубетейки. Слишком маленькая с пёстрым шитьём по краю. Старик бережно трогал цветок пальцами, точно разговаривал с розой, гладил стебель. Подносил ножницы, примеряясь где отрезать. Стальные лезвия медленно сходились у стебля, садовник сладострастно медлил, будто наслаждаясь абсолютной властью над жизнью прекрасного цветка. Упивался ожиданием. Но в последний момент, словно передумав, медленно разводил острый металл лезвий и отпускал цветок на волю. Даровал жизнь.

Леди Гамильтон – имя всплыло само собой; так назывался сорт роз, которые разводил дед. После ухода в отставку наш старик зачудил: перебрался из московской квартиры на дачу, перестал бриться и отпустил библейскую бороду, помешался на розах – сейчас-то я понимаю, и розы, и дача были попыткой бегства. Классический пример эскапизма – думаю, именно такой диагноз предложил бы мой психоаналитик доктор Лурье из Бруклина.

Беззвучно возник сонный официант и неуверенным жестом поставил передо мной чашку кофе. Блюдце звякнуло, кофе расплескался, два куса рафинада в бумажной обёртке подмокли и быстро начали темнеть.

– *Tea*, – начала я по-английски, потом перешла на русский. – Я просила чай.

Официант помедлил и нерешительно забрал чашку. Он тоже был в исподнем, как и садовник, и в такой же забавной тубетейке. Я не успела посмотреть на ноги, наверняка, этот тоже был бос.

Садовник быстро отвёл глаза и помиловал очередную розу. Звякнув ножницами, переместился к следующему кусту.

От звона цикад, низкого унылого звука, ломило в висках. За дальним столом у стены скучала пара мятых немцев из «Ви-Дабл-Ю», между ними стояла миска с тархан-сумом, куда они поочерёдно лазали оранжевыми от шафрана пальцами. В углу, вытянув страусиные ноги во вдовьих чулках, курила Лора Зоннтаг из IFC (Международная Финансовая Корпорация). Рядом испорченным унитазом журчал убогий фонтан, он напоминал пластиковую автопоилку для собак. Такие я видела в Нью-Джерси – неубедительная имитация несуществующего в природе камня цвета молочного шоколада, внутри моторчик гонял одну и ту же воду, мутную и тёплую. В Нью-Джерси даже собаки отказывались пить такую.

Цикады вдруг заткнулись – зуд как отрезало, до меня дошло – это гудел генератор. Как всё-таки коварно наше подсознание, в любой момент готово услужливо отлакировать реальность. Впрочем, не всё поддаётся лакировке. Например – эта убогая веранда с хлипкими столами и шаткими стульями; трёхметровая стена, выкрашенная мелом, плоское коричневое небо. Тут подсознанию в одиночку не справиться, тут нужны медикаменты, на худой конец, алкоголь. Выпивку в городе продают только в Белой зоне, ещё в посольствах, у гяуров можно купить хмурь или *хрусталь*. У абреков можно достать всё, но с ними нужна предельная осторожность – тут, как говорят, гешефт может стать гешталтом.

На той неделе в сети появилось видео, теперь вместо тесака они используют стальную проволоку, что-то вроде рояльной струны. Жертва лежит лицом вниз, палач накидывает стальную петлю на шею и быстрыми движениями рук вверх-вниз, вроде как полируя, перепиливает шею. Казнь занимает секунд пятнадцать. Я смотрела с отключённым динамиком, но и без звука видео производило впечатление.

Потом выяснилось, что с казнённым я пару раз встречалась на посольских пьянках; рыжеватый, почти альбинос, англичанин по имени Вилл Бут; помню его чудной акцент, кажется, он был откуда-то с севера, из Манчестера что ли. Да, оттуда или из Ньюкасла. Пьяно тараща рачьи глаза, он безуспешно пытался заманить к себе,

но я тогда проявила несвойственное мне благоразумие. Теперь ему отпилили голову стальной струной от рояля. Когда его голова была ещё на плечах, Вилл работал на *Бритиш Петролеум*.

Садовник, в профиль он напоминал копчёную камбалу (если, конечно, у камбалы есть профиль), добрался до дальнего куста, официант вернулся с чаем – бледно-жёлтой водицей в прозрачном стакане, часы на стене показывали без четверти полдень. Доктор Фабер опаздывал на сорок пять минут. Да, надо было вчера выжать из него хоть что-нибудь. Но было лень, было поздно, хотелось просто выпить и не думать обо всей этой бодяге. Забыть, что ты здесь, забыть обо всём – насколько такое возможно без ущерба для собственной безопасности.

Разумеется, никакой он не доктор; я снова достала его визитку, серую картонку с подслеповатыми буквами, своим видом намекавшую на необходимость использования вторичных ресурсов и безусловную важность защиты окружающей среды. *Макс Фабер, доктор, координатор фонда «Астро-Эко»*. На визитке не было ни адреса, ни телефона, ни сетевых контактов. Снова загудел генератор – точно не цикады; с той стороны реки, усиленный динамиками, долетел голос муэдзина. Наступал зухр, обеденный намаз.

– Чёртов город... – за спиной проворчал кто-то.

Я обернулась, Фабер обошёл стол, выдвинул стул и сел.

– Извините, опоздал.

Кивнула, мол, чепуха. Сама думаю – вот ведь сволочь, на целый час.

Он протянул руку, я пожала. Сухая ладонь, крепкие пальцы; если доктор и строил эротические планы на мой счёт, то лишь в качестве довеска к основной задаче. К сорока трём у меня выработалось безошибочное чутьё на этот счёт – да, лучше поздно, чем никогда. Знание, оплаченное болью и унижением, конец школы, первые пару лет колледжа, время, которое я стараюсь не вспоминать.

При дневном свете Фабер выглядел старше – далеко за полтинник, вчера, в норвежском посольстве, я дала бы ему лет сорок восемь. Почти старик – какого чёрта он делает в этой дыре? Лебединая песня, деньги, последний шанс перед пенсией? Достала из сумки блокнот, раскрыла. Щёлкнула ручкой. А сама-то? – какого чёрта я делаю в этой дыре?

Фабер вытащил сигареты, закурил. Поискал глазами пепельницу, стяхнул на пол.

– Что вы пьёте? – кивнул на мой стакан. – Чай?

– Чай. Вчера вы говорили...

– Да. Экологическая катастрофа... Это реальность, наша сегодняшняя реальность.

Сдержанная трагичность тона, которую я должна принять за «озабоченность», безликая затёртость банальных фраз. Я несколько раз нервно щёлкнула ручкой. Доктор продолжил тем же тоном.

– Коричневое небо? Когда последний раз вы видели солнце? А эти фламинго?

Неделю назад над городом один за другим проплыли караваны красных фламинго. Птицы летели на запад. Одна стая остановилась переночевать на крыше «Метрополя». Сотни багровых птиц; изящные клювастые силуэты на ломких голенастых лапах на фоне темнеющего неба.

– Новые коридоры миграции, – буркнула я и, закинув ногу на ногу, стала чирикать в блокноте. Нарисовала неплохую табуретку, к ней пририсовала себя – джинсы, высокие сапоги, лохмы в разные стороны, острый нос – весьма критично, но похоже. Доктор говорил про взрыв на Бакинской АЭС, о радиационном фоне, о ртути в крови волков. Я дорисовала верёвку с петлёй перед своим носом. День пропал, доктор Фабер оказался пустышкой.

Вчера мне показалось, что из него можно выжать материал. Доктор был из тех людей, которые теребят твой рукав и, оглядываясь по сторонам, тащат за собой в дальний угол, где драматичным полушёпотом вещают в ухо: «Если у вас хватит смелости написать об этом...» или «Информация, которой я обладаю, страшнее Армагеддона...» – они говорят это так, точно до этого ты блуждала во тьме без малейшей надежды на истину. Такие типы не редкость, они встречаются постоянно. Но что-то остановило меня послать его к чёрту, что-то заставило тащиться на эту встречу. Что? Меня сбило с толку несоответствие формы и содержания: я много работала с экологами, с учёными – это люди слеплены из одного материала, у них редкая группа крови, думаю, та же, что и у Дон-Кихота. Фабер явно не принадлежал к этой касте. Он напоминал металл, который прикидывается деревом – вроде чугунной парковой скамейки,

имитирующей деревянную лавку. Да, именно несоответствие формы и содержания. Ну и интуиция – как же без неё.

– Доктор, – перебила я его. – Я давно перестала делать что-то из вежливости. Или потому что так принято в приличном обществе. Мне плевать на приличное общество. Точно так же как моему редактору в Нью-Йорке, этой крашеной суке Ван-Хорн, плевать на истории про радиационный фон и ртуть в крови волков. Мы угробили планету, это не новость. Никого не интересуют взрывы ядерных реакторов и радиоактивные выбросы. Душа и мозг человека атрофированы от неупотребления, за живое его может задеть лишь демонстрация откровенной жестокости. Люди хотят читать про смерть, про казнённых заложников и изнасилованных школьниц, они хотят видеть отрезанные головы и лужи крови. Только это. И ещё взорванные автобусы, куски человеческого мяса на асфальте. Там, в Цинциннати или Чикаго, мои читатели должны физически, до оргазма, ощущать, как им сказочно повезло; домохозяйка, учитель, шофёр и сантехник – все обязаны боготворить существующее мироустройство, которое обеспечило им безопасность и завтрашний день. Вы думаете, люди ходят в цирк любоваться бесстрашием укротителя или ловкостью канатоходца? Нет – они тайно надеются стать свидетелями трагедии, а если страшно повезёт, то и смерти, которая явится подтверждением их собственной безопасности. Надёжности их бессмысленного бытия.

Доктор докурил, наклонился и вдавил окурочек в цемент пола. Всё это время он внимательно слушал. Я сделала глоток, чай остыл до комнатной температуры.

– Наполеон, – уже спокойней продолжила я, – говорил: «Религия – единственный инструмент, который удерживает народ от того, чтобы перерезать глотки богачам». Религия обанкротилась. У богачей двадцать первого века, увы, желание делиться с народом не больше, чем у Марии-Антуанетты. Интернет взял на себя функции религии, того сдерживающего инструмента...

– Интернет, – доктор негромким голосом перебил. – Это лишь средство доставки.

– Безусловно. Так же как и телевидение. Но лишь интернет позволил осуществить полномасштабный контроль всего человечества. Той части человечества, которое имеет значение и

играет роль; маргинал, монах в пустыне или дикарь в джунглях – эти ребята никого вообще не интересуют. Они не могут влиять ни на что. Активная часть населения, встроена в цивилизацию и являющаяся её планктоном, находится в сети постоянно. Как пациент под капельницей.

– А вы – врач? И от вас зависит, что влить в вену – яд или эликсир, правильно я вас понял?

– Не врач, медсестра. Которая смешивает лекарства, – добавила я. – Дайте мне сигарету.

На этот раз мне удалось продержаться девять дней. После второй затяжки голова поплыла, окружающий мир приобрёл относительную приемлемость. Попытки бросить курить, очевидно, не делают мой характер покладистей, мне стало неловко за излишне страстную речь.

Доктор Фабер, явно американец, плотный, с большими руками и алкогольным румянцем на бритых щеках, напоминал человека, страдающего от какой-то хронической боли, которую он не очень успешно старался скрыть от окружающих. Но которая проскальзывала в жестах и интонациях.

– Ну так даже проще, – он провёл ладонью по редкому седому ёжику, словно проверяя колючесть волос. – Очень понравилась ваша метафора про нашу цивилизацию – цирк. Да, мы сами превратили наш мир в круглосуточный цирк. Зрители жрут попкорн и с нетерпением ожидают, когда очередной гимнаст свалится с проволоки, лев сожрёт следующего укротителя, факир взаправду перепилит девицу пополам.

От его речевых штампов и банальных оборотов меня бесило. Под конец этот хам добавил:

– Немного, чисто по-человечески, разочарован вашим цинизмом и абсолютным безразличием к судьбе красных фламинго...

– Почему же? Даже сделала репортаж. Вы видели их на крыше «Метрополя»?

– «Метрополя»... – доктор покрутил обручальное кольцо на мизинце, очевидно, оно перекочевало туда с другого пальца, но и на мизинце кольцу явно было тесно. – Да, птиц мне тоже жаль. Вы правы и насчёт информации, именно информация уничтожила коммунизм в прошлом веке. Нам тогда казалось, что если расска-

зять правду всем, то проблемы исчезнут сами собой. Народ свергнет тиранов, кончатся войны...

– Кому – нам? Экологам? Фонду «Астро-Эко»?

Щёлкнула ногтём по картонке визитки. Иронии особо не скрывала.

– В интервью с Салахом Тамерлановым... – он сделал паузу, посмотрел мне в глаза.

Ага – отлично! Я сделала стойку – подбираемся к сути. Значит, не ошиблась.

– ...Вы его спрашиваете о возможной причастности «Железной гвардии» к Мытищинским событиям и взрыву на Рублёвском водозаборнике.

– И?

– Откуда у вас эти сведения?

– Какое вам дело, экологам?

– Послушайте, я думал...

– Мне плевать на ваши думы, доктор. Вы вытащили меня в эту вонючую харчевню, обещая какую-то информацию; оказывается, никакой информации у вас нет и даже более того – вам что-то нужно от меня. И при этом вы продолжаете мне морочить голову.

– Хорошо, я...

– Именно хорошо! Но не вы, а я! И вот что я вам скажу: или вы прямо сейчас перестанете валять дурака и выложите всё как есть... или я немедленно уйду.

– Вы чай не допили.

Я подняла стакан и вылила жёлтую жидкость на кафель пола. Доктор поморщился и негромко сказал:

– Нас интересуют ваш источник у гууров. Возможность выхода через него на Питер, на руководство «Молотов-центра»...

– Вы из Бюро? – перебила я. Вопрос явно был риторический, Фабер кивнул.

– Выход на сектор Румянцева. И на людей Сильвестрова в Питере.

Он облизнул нижнюю губу, замолчал; я посмотрела ему в глаза.

– И что должно меня сподвигнуть на это? – насмешливо спросила.

– Журналист не сдаёт свои источники. Тут дело не в профессиональной чести или ещё каких-то глупостях, вопрос сугубо практический

– единожды предав, кто тебе поверит. Журналист без источников мёртв. Вам это должно быть очень хорошо понятно... особенно как профессиональному шпиону.

– Я и не рассчитывал на ваш... – доктор скривил рот, – энтузиазм патриотического разлива.

– Отлично! Остаются всего два варианта – шантаж и подкуп.

– Ну почему? – он попытался усмехнуться, получилась болезненная гримаса. – Есть и третий вариант...

Узнать подробнее о третьем варианте мне не удалось.

Снаружи, совсем рядом, протрещала автоматная очередь, совершенно машинально я отметила, что стреляли из «калашникова»; доктор что-то гаркнул мне, сшибая стулья, он кинулся к стене – злой и красномордый, в руке – полевой «лекс»; я рванулась к выходу, краем глаза заметила как Лора Зоннтаг упала, запутавшись в розовых кустах. Её падение было плавным, тягуче красивым, точно в замедленном кино. Лора ломала и увлекала кусты за собой, лепестки разлетались в стороны, как красные брызги. Розы, сочные, пунцовые розы, размером с кулак, – было последним, что я увидела.

2

Небо, серо-коричневое, – унылый индустриальный цвет, таким красят стены в глухих конторах, где по пятницам уволенные сотрудники совершают ритуальные самоубийства, вскрывая себе вены в тесных туалетных кабинках. Небо – плоское и безнадежно низкое. Я попыталась сесть. Ноги были на месте, я подняла к глазам руки – руки тоже.

Звука не было. Вернее, я его не слышала. Собака, одна из тех бродячих дворняг, драная, в клочьях пегой шерсти, стояла передо мной и беззвучно лаяла. Её левый глаз вытек и был затянут лиловым пузырьём. Собака гавкала мне прямо в лицо. Жалкая и омерзительная одновременно.

В стене зияла дыра. Почти идеальный круг метра два в диаметре с обрывками ржавой арматуры. Мне была видна часть пустой улицы, между домов маячил сизый контур Блаженного, Ле Корбюзье как-то назвал собор бредом безумного кондитера. Ироничный галл, трубадур прямых углов, ещё он считал ракушку

воплощением красоты: ни одна из божественных идей, говорил он, не воплощалась с таким изяществом и гармонией. Ракушка – это спираль, которая раскручивается изнутри наружу. Удивительная дичь иногда всплывает в моей сломанной башке!

Всё вокруг было белым, нежным; во мне шевельнулся отзвук забытого детского умиления первым снегом, утренним девственным, так неожиданно и просто решавшим проблему уродства законного пейзажа. Где это было? Когда? Рядом на полу лежала рука, мясистая ладонь, растопыренные короткие пальцы. На мизинце я заметила обручальное кольцо.

Слух начал возвращаться постепенно, точно кто-то не спеша прибавлял громкость. Появился собачий лай, сиплый и монотонный. К нему добавился протяжный звук, на одной высокой ноте, противный, вроде сигнала занудной сирены. Но звук был явно живой. Я повернула голову. Там, у стены, среди алюминиевой путаницы смятых столов и стульев, среди вырванных и растерзанных розовых кустов, присыпанная снежной пудрой, лежала Лора Зоннтаг. Она лежала и выла на одной невыносимо протяжной ноте, а из её левой груди узким серпом, точно ранний месяц, торчал полуметровый осколок стекла.

Слабой рукой Лора указывала мне на дыру в стене. С той стороны в неё пробирались люди. Абреки. Первый, длинный бородач, похожий на сухой стручок, неуклюже перешагивая через обломки, остановился у Лоры и, подняв тупорылый десантный «калашников», выстрелил ей в голову. Другой, коротконогий, в лиловом спортивном костюме, направился ко мне. На рукаве его куртки пестрела эмблема какого-то футбольного клуба. Опершись на локоть и не отрывая взгляда от воронёного ствола его автомата, я попыталась встать. Момент, прикинуться мёртвой, явно был упущен.

Мой дед оказался прав – страха я не ощутила.

Этот финальный момент рисовался в моём воображении во всех возможных вариациях: от мясорубки уличного взрыва – смерти анонимной, грязной и обидной, до остро персональной процедуры «усекновения главы» (как данное действие называлось в древних рукописях, включая Библию), с посмертной славой в тысячу кликов на канале *YouTube*. Пуля в лоб из «калашникова» десантной

модификации выглядела вполне банальной и весьма вероятной. Почти неизбежной.

Каждый лишний день пребывания в «зоне повышенного риска» – эвфемизм нашей нью-йоркской штаб-квартиры – простым арифметическим действием сжимал твои шансы на возвращение домой живым. Моим преимуществом было отсутствие дома, как гипотетической точки возвращения. Меня никто не ждал. Никто не ждал тут, никто не ждал и на том полушарии. Абсолютное, тотальное одиночество, свирепая тоска прокуренных навывлет ночей, липких стаканов и душных простыней, – совершенно неожиданно, при внимательном взгляде в черноту дула автомата, показалось мне почти удачей. Один точный выстрел. Чистосердечная наивность столь простого решения выглядела убедительной и логичной.

Коротышка поднял автомат. Мне удалось разглядеть эмблему на рукаве – «Барселона», конечно же «Барселона»; ненужное знание успокоило, точно имело какое-то значение. Органы чувств, будто прощаясь, напоследок решили продемонстрировать свои превосходные качества – мой взгляд одновременно выхватил палец на спусковом крючке, глубокий шрам над правой бровью, – короткий и аккуратный, как удар резцом; бездомную собаку за спиной убийцы, мозаику на стене и кусок скучного пейзажа.

Слух предоставил затейливый саундтрек: на фоне упругого ритма крови в висках, низкого как басовый барабан, раскрывалась целая симфония звуков – рык моторов, автоматные очереди и крики за стеной, вой полицейских сирен и рыдания неизвестного младенца.

К сухому запаху мела и пыли примешивался жирный дух ружейной смазки, кислая вонь горелого пороха, горечь чадящих тряпок; а откуда-то, наверное, из кухни, вдруг пахнуло свежесвеженными лепёшками.

Точно ныряльщик, пытаюсь вобрать в себя всё сразу одним могучим вдохом, я выпрямилась и посмотрела в глаза абреку.

– Нога ходить? – спросил он по-русски.

Он ткнул мне в грудь стволом автомата, потом крикнул что-то напарнику. Длинный ответил. Абреки говорили на пушту. Афганцы или паки.

– Пошёл! – коротышка подтолкнул меня к дыре в стене.

Смерть откладывалась на неопределённое время.

Но если уж начистоту, то я должна была погибнуть сорок два года назад.

Тогда меня спас дед, и, может быть, оттого я до сих пор ощущаю какую-то особенную связь с ним, с отцом моей матери. На интуитивном уровне, или мистическом, не знаю, это моё второе рождение, стало гораздо значительней рождения физического. Вялое присутствие на периферии моего сознания матери, фигуры расплывчатой и невнятной, текущей сквозь меня ручьём тихого обыденного счастья, лишь оттенило монументальную мощь дедовского величия.

Чудо моего второго рождения случилось на даче в конце апреля. Стоял ветреный полдень, синий до звона и качающийся в деревьях, белая пурга облетевшего яблоневого цвета мешалась с розовой метелью цветущей вишни. Моя коляска была пришвартована у нижней тупеньки переднего крыльца. Хлопали ставни, поскрипывала старая сосна у колодца, где-то на крыше гремел жестью кровельный лист. Дед возился в сарае, как всегда что-то мастерил.

Как он мне потом рассказывал, необъяснимый импульс заставил его отложить всё и направиться прямо к коляске. Дед, не отличавшийся чадолюбием, неожиданно для себя самого, взял меня на руки и поднялся на крыльцо. Буквально в этот момент старая сосна у колодца крикнула, затрещала и со всего маху рухнула на землю. Одна из ветвистых лап расшибла коляску вдребезги. Согласно фамильной легенде, я даже не проснулась.

3

Их было всего трое. Плюс «джип». Коротышка (тот самый болельщик «Барселоны») запрыгнул за руль, длинный (который «стручок») сложился пополам, влез рядом. Они поленились связывать мне руки, втиснули в багажное отделение джипа и захлопнули дверь. На заднее сиденье забрался раненый пак, он зажимал ухо тряпкой, коричневой от крови, кровь текла по шее под воротник и расплывалась мокрым пятном по спине. Пак оглянулся, вперил в меня дикие глаза. Ничего не сказав, отвернулся. Где-то выла сирена,

но нас никто не преследовал; коротышка дал газ, лихо развернулся, сбив несколько мусорных баков у входа в харчевню.

Я увидела закопчённую стену, посередине круглую пробоину, – судя по-всему, абреки подогнали машину со взрывчаткой к самой стене. Стандартный ход. Искорёженный каркас кузова машины валялся на другой стороне улицы. Обломки и мусор дымились, от горячей шины лениво и тяжело поднимался жирный столб смоляного чада. Прислонясь к стене, точно пьяный, сидел Умар, мой водитель. Его горло было перерезано от уха до уха. Рядом, выставив голые пятки, лежал труп садовника.

Выбрались с Манежа. Длинный что-то буркнул, шофёр послушно свернул направо и погнал вверх по брусчатке. Выехали на площадь, слева чернел сожжённый остов ГУМа. Коротышке приходилось лавировать между бетонных блоков, которые остались со времён штурма. На месте мавзолея темнела воронка, наполненная коричневой водой. Там, под мавзолеем, начинался подземный ход, ведущий в Китай-город. Говорили, что Сильвестров сам взорвал ход, когда уходил из Кремля.

У коричневой лужи кружила стая бродячих псов. Длинный абрек выставил ствол автомата в окно и дал очередь, одна собака взвыла, закрутилась на месте, точно пытаюсь поймать свой хвост. Стая отпрянула, замерла и вдруг разом набросилась на раненого пса.

На месте Спасской башни зиял провал, заваленный горой битого кирпича, за ним гигантской закопчённой свечой высился обрубок взорванной колокольни Ивана Великого. Джип трясло на брусчатке, шофёр, не сбавляя скорости, кидал машину из стороны в сторону. Я сползла на пол и с силой упёрлась подошвами в борт, но меня всё равно болтало из стороны в сторону. Воняло бензином и мужичьим потом. Раненый пак убрал тряпку, вместо уха в голове чернела кровавая дыра с блестящими, как от лака, краями.

Мы выскочили на Ордынский мост. Справа, вздыбившись, точно пытаюсь подмять фонарный столб, застыл мёртвый танк. Другой, без башни, протаранив гранит парапета, свешивался над рекой. Башня танка, с изогнутой в дугу пушкой, валялась метрах в тридцати. Сильвестров расстреливал колонну «Терновых» прямой наводкой, орудие било с кремлёвской стены. Третий танк, чёрный от копоти, перегораживал спуск к «Балчугу». Гостинице тоже

досталось, в здание угодила авиабомба и фасад отеля был срезан точно бритвой. Из стен торчала гнутая арматура, стальные балки, похожие на рельсы; из бесстыже оголённых комнат выглядывала неопрятная мебель – кресла, стулья, кровати, на ленивом ветру линиями флагами шевелились выцветшие шторы. Жерар говорил, что три года назад, ещё до моего приезда, там в пентхаусе был шикарный «Пиано-бар» с приличным джазом и лучшими «драй-мартини» в городе. Мне не повезло, я этого уже не застала. Жерар, сибарит и бабник, поклонник Майлса Дэвиса и вычурных коктейлей, был единственным человеком, которому я доверяла; прошлым сентябрём его сожгли заживо в машине, когда он ехал на встречу с людьми Зелимхана Караева.

«Каждому человеку Бог отмеряет удачу», – говорил мне Жерар за день до смерти. – «Кому больше, кому меньше. Но будь ты самый везучий сукин сын на свете, твоя удача всё равно имеет конец. И в один прекрасный день тебе придётся поставить на кон свой последний пятак. Уезжай! Не завтра – прямо сейчас».

Жерар Дюпре был настоящим французом, более того – парижанином, изысканным в чувственных наслаждениях и пылко выпенненным в высказываниях. Он говорил так, будто диктовал инаугурационную речь, точно некий невидимый секретарь с белыми крылами за спиной записывал каждое слово в какие-то бессмертные свитки мироздания. Пошлость слов отчасти скрашивал милый картавый выговор и неправильные ударения.

Я бы уехала, но возвращаться в прошлое значило снова пройти через такую толщу боли, что от одной мысли меня скручивало, как от удара под дых. Прошное исключалось; будущее, любое будущее, не связанное с прошлым, рисовалось отвлечёнными картинками, аморфными и зыбкими, точно я разглядывала их со дна бассейна: что-то вроде фотографий из мебельного каталога, где стерильные интерьеры оживлялись идеально безликой семьёй – белозубый красавец, седеющий и загорелый, пара улыбчивых детей в белых гольфах и с ямочками на щеках, разумеется, собака. Разумеется, золотистый ретривер. Ваниль и розы, вкрадчивый уют аристократических драпировок, не имеющий ко мне ни малейшего касательства.

Почему я не уехала? Думаю, страх и надежда. Не страх смерти

– этот страх (и дед мой тут прав на все сто) – чепуха. Страх перед будущим и надежда, что всё будет хорошо. Когда? Когда-то, в будущем, – завтра, через неделю, потом. Именно это «потом», этот зазор между минувшим и грядущим, давал мне силы забыть (о, эта вышколенная забывчивость!) о семизарядном «сфинксе», дремлющем на дне комода под трусами и лифчиками, радикальном средстве девятого калибра, способном на эффективную и бесповоротную анестезию.

Раненый пак тихо стонал, длинный абрек дремал, покачивая головой в такт ухабам, словно соглашаясь с кем-то. Шофёр зло шипел, изредка ругаясь на пушту. Справа, высясь на Стрелке, проплыл долговязый бронзовый Пётр, наверное, самый уродливый памятник на планете; за ним показалась Стена, бетонный шестиметровый забор, окружающий Белую Зону. Над Зоной выписывал плавные восьмёрки патрульный беспилотник. По периметру Стены, через каждые сто метров, торчали пулемётные вышки, похожие на бетонные шахматные ладьи с узкими прорезями бойниц. Стена подступала к самой реке и тянулась до того места, где когда-то стоял Крымский мост, ржавое железо разбомбленного моста торчало из серой воды, как хребет доисторического мастодонта. Тут Стена поворачивала и шла вдоль Садового кольца по Крымскому валу до самого пересечения с Якиманкой.

Тусклым перламутром блеснули бронированные окна «Президент-отеля», там, на шестом этаже, с видом на грязную воду Москвы-реки и руины храма Христа-спасителя, между штаб-квартирой Фокс ньюс и корпунктом Дейли мэйл располагался наш офис. Шестой этаж почти целиком занимала пресса. Выше, на седьмом и восьмом, гнездились дипломаты из ООН, посольства и консульства расквартировались в бывшем Доме художника, в залах Третьяковки. В кабинете американского консула висел «Демон» Врубеля и несколько карандашных портретов Серова. Англичане предпочитали строгий соцреализм Дейнеки, французы – аскетичный эротизм Гончаровой. Вся коллекция старой Третьяковки погибла во время Миндальной Ночи, гвардейцы Кантемирова кромсали холсты штыками, обливали картины бензином, жгли. Когда горело Ивановское «Явление Христа народу» (видео появилось в сети на следующее утро), фигура Иисуса неожиданно исчезла с полотна.

Очевидно, произошла какая-то химическая реакция, что, однако, не помешало распространению и мистической интерпретации. Причём, как восторженно позитивной – «Бог спасся, чтобы вернуться и отомстить»; так и по-русски беспросветно трагичной – «Это конец, Христос оставил Россию».

С Ордынки пришлось свернуть. Сожжённый троллейбус перегораживал почти всю мостовую, оставляя лишь узкий проезд по тротуару. За троллейбусом виднелась гора битого кирпича с резиновыми крышками на гребне. За ними кто-то прятался. Всё это было похоже на незамысловатую западню. Долговязый абрек моментально проснулся, открыв окно, он выпустил короткую очередь в сторону троллейбуса. В ответ тут же раздались торопливые pistolетные выстрелы.

– Гяуры! – гаркнул длинный, поливая баррикаду из «калашникова»; шофёр врубил передачу и, хищно оглядываясь, дал задний ход.

Никогда в жизни я не ездила задом с такой скоростью. Двигатель надсадно рычал, неожиданно водитель рванул ручной тормоз и джип, визжа резиной, развернулся на месте на сто восемьдесят градусов. Изящно, как в танце. До этого я была уверена, что такое возможно лишь в кино.

Гяурами, для простоты, именовались все неисламские боевики, банды которых промышляли в Москве и окрестностях. Банды соперничали между собой, делили территорию, но были объединены общей враждой к Эмирату и абрекам – шайкам мусульман-экстремистов, связанных со Всемирным Халифатом и Аль-Исламийя.

В апреле мне удалось сделать репортаж о «Таганском отряде», взять интервью у легендарного Полковника Зуева. Он действительно оказался полковником МВД и до Краха служил начальником 37-го отделения милиции. Ударная команда его отряда, сформированная из бывших ментов и военных, базировалась в Новоспасском монастыре, где после Миндальной ночи прятались уцелевшие горожане из окрестных домов.

Зуев был зол и радушен. Разрешил фотографировать всё, кроме военной техники. Предложил польского кокаина, я благоразумно отказалась. На монастырских стенах стояли крупнокалиберные

«Гатлинги» с вращающимися блоками стволов, ворота охранял тяжёлый Т-15, на башне танка, разморенный полуденным солнцем, дремал рыжий жирный кот. По монастырскому двору между зенитными установками гуляли куры. Полковник весело матерился, потирал короткую шею крепкой, как лопата, ладонью. Хвастался и врал. Возмущался нейтралитетом Америки.

– Ты думаешь, отсидитесь? Думаешь, авось, пронесёт? Во! – полковник ткнул в объектив камеры здоровенный кукиш. – Поняла? И вас накроет как миленьких!

Он постоянно вываливался из кадра, румяный и азартный. Я плавно подалась назад не прерывая съёмки.

– Ты растолкуй своим пиндосам, что мы и за них тут кровь льём! Чтоб они могли спокойно жрать бургеры в своём Техасе, – полковник выругался и зло сплюнул под ноги. – Хер с вами, не хотите войска вводить, так хоть оружием помогите! Заодно свой военно-промышленный комплекс поддержите. Этот, как его... Как там этого вашего сенатора...?

– Лоренц.

– Во! Лоренц! Неужели этот чёртов Лоренц не может продавить ваш Конгресс...

– Сенат...

– Да какая нахер разница – сенат, конгресс?! Оружие давайте, мать вашу! Оружие!

Неожиданно полковник задрал голову, точь-в-точь охотничий пёс. В апрельском небе, высоко-высоко над монастырём, кружил беспилотник. Дрон, похожий на слюдяную стрекозу, на призрак, бесшумно плыл по кобальту весеннего неба. Камера высокого разрешения, установленная на самолёте, передавала изображение напрямую в Координационный центр. Какой-то оператор в Вирджинии сейчас разглядывал нас с полковником, видел, что на голове у меня полный бардак и мешки под глазами – увеличение позволяло без труда рассмотреть монету на ладони.

– Видишь? Ну не суки ли? – полковник вдруг выхватил из кобуры «глок» и высадил всю обойму в небо. – Оружие давай!

Золотистые гильзы покатались по утрамбованной глине двора, где-то забрехала собака. Полковник передёрнул затвор.

– Ты это вырежи, – он сунул пистолет в кобуру. – И про оружие

им объясни, пиндосам. Без оружия нам хана. А после и вам. Ты ж сечёшь фишку, Катюха, ты ж наша...

– В смысле? – не поняла я.

– Ну, в смысле, – русская... – полковник неожиданно смутился.

– Ничего, что я тебя Катюхой зову?

4

Пуля пробила ветровое стекло, оставив в триплексе аккуратную маленькую дырку. Безухий пак дёрнулся и уткнулся в спинку переднего сиденья. Затих и замер, точно заснул. Шофёр и длинный даже не заметили: шофёр продолжал гнать, мастерски объезжая ухабы, длинный, выставив ствол автомата в окно, хмуро глядел по сторонам.

Когда джип выскочил на Серпуховскую и погнал на юг, я поняла, что мы направляемся в Донской монастырь, на базу Тамерлана. Тамерлана аль-Ашари – истинного и праведного халифа, потомка Омейядской династии, сплотившего вокруг себя истинных мусульман, «асхаб аль-хадис», наджию спасённых. А на деле – банду головорезов, недобитых талибов и боевиков из Исламского Джихада, Фронта ан-Нусра и других группировок того же пошиба.

Сам Тамерлан начинал обычным полевым командиром Фронта Аллаха, дрался в Ираке, потом в Сирии, руководил штурмом Пальмиры. После взятия города его отряд вырезал более четырёхсот мирных жителей, по большей части детей и женщин.

Дальнейшую информацию, страницы две, можно смело пролистнуть. У нормального читателя вся эта белиберда, эта мешанина арабских имён, географических названий, крови, пыток и казней, похожая на сказку из «Тысячи и одной ночи», снятой в стиле трэш-хоррор, не вызовет ничего, кроме рвотного рефлекса. Я привожу её здесь исключительно из журналистского педантизма, дабы продемонстрировать мое превосходное владение материалом.

Именно Тамерлан аль-Ашари отрубил голову директору Пальмирского музея Халиду Асааду. Всемирно известный археолог был казнён за поклонение древним идолам и пропаганду язычества. Видео, где Тамерлан, потный и азартный, из танкового пулемёта расстреливает сорок женщин в римском амфитеатре Пальмиры, за

день набрало двадцать миллионов просмотров. Женщин обвиняли в колдовстве в пользу врагов истинного ислама и в пособничестве правительственным войскам средствами чёрной магии.

За попытку побега из тренировочного лагеря Тамерлан собственноручно отрубил головы двенадцати курсантам. Старшему из казнённых было тринадцать лет.

Когда два года назад рухнул режим Сильвестрова и сам диктатор с остатками гвардии бежал в Питер, наспех основав там столицу Возрождённой Русской Империи, невнятного полуфеодального государства с границами, не выходящими за пределы Ленинградской области, честолюбивый Тамерлан ринулся в Россию. Страну бескрайних полей и голубоглазых женщин с льняными волосами. Работорговля давала неплохой доход, особенно торговля женщинами и детьми, особенно с белой кожей. Впрочем, основные деньги карманный халифат Тамерлана зарабатывал на транзите афганского героина.

О том, что творится в Донском монастыре, толком никто не знал. Точнее, достоверность этой информации оставалась сомнительной. Сам Тамерлан присвоил себе титул халифа, прямого представителя пророка Мухаммеда на земле с неограниченными полномочиями, и именовал подчинённую ему территорию халифатом Джайш аль-Фатихин с гербом, флагом и задиристым девизом «Завтра – весь мир!».

Сочетая в себе фанатизм ваххабита с гибкостью дипломата, дремучесть фундаменталиста со смекалкой западного маркетолога, Тамерлан умело ковал свой имидж. Делал это, мастерски используя всю мощь современных информационных технологий. Ещё в Ираке, а особенно в Сирии, он осознал силу пропаганды, силу почти волшебную, способную при умелом манипулировании превратить тыкву в карету, мышей в четвёрку лошадей, замарашку в принцессу, а невзрачного таджикского пацана из нищего пригорода Душанбе в неукротимого и блистательного принца. В яростного и бесстрашного воина, в великолепного Тамерлана.

Что есть истина? – вопрошал озадаченный прокуратор две тысячи лет назад. Истина? В двадцать первом веке истиной становится картинка на дисплее компьютера, видео на экране смартфона. Виртуозно сфабрикованная реальность, залитая в интернет, становится истиной за сутки. Истина! Да мы можем

сделать истиной что угодно! Наша аудитория с вожделием готова проглотить любую несуразицу, лишь бы она была от души приправлена страхом, сексом, кровью. И чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё верят, – кто говорил, не забыли? Ведь правильно говорил, сукин сын, абсолютно верно.

На Тамерлана работало его личное информгентство «Аль-Хайят» (по-арабски – жизнь), название, скорее, ироничное, поскольку все сюжеты были так или иначе были связаны со смертью. Мозгом и сердцем этой креативной фабрики стал Саид Эмвази, по кличке «Скорцезе», знаменитый создатель киношедевра «Звон мечей», главной пропагандистской ленты Фронта ан-Нусра, отмеченной самим Вилли Вульфом как «продукция голливудского уровня».

Тамерлан спас Саиду жизнь, ещё там, в Сирии. По совокупности проступков Скорцезе приговорили к смерти, к раджм. Раджм – это казнь, когда преступника забивают камнями до смерти. К слову, мне всегда была любопытна эта особенность ислама, где для приведения в исполнение смертного приговора одного из членов общества в качестве коллективного палача выступают все остальные соплеменники, включая родню преступника. В уголовно-бандитских группировках это называется «повязать кровью».

Наказание – укуба, которое налагается на преступника судьёй – кади, выносится на основании законов шариата. При вынесении приговора кади руководствуется исключительно исламскими первоисточниками – Кораном и Сунной. Как говорил пророк – ответственность за свои дела должны нести все люди, независимо от общественного положения и бывших заслуг, а мера наказания должна быть адекватна преступлению.

Преступления делятся на три группы по степени тяжести: пресекающие, отмщающие и назидательные. Скорцезе удалось собрать весь букет самых тяжких грехов – хадд-аз-зина и хадд-ас-сиркат, в именно – прелюбодеяние, употребление алкоголя и присвоение чужого имущества.

А вот ещё на заметку – любопытным аспектом шариатского закона является тот факт, что самыми страшным преступлением считается деяние, направленное на моральный подрыв общества, – не убийство, не нанесение увечий, – за такие пустяки можно

заплатить простой выкуп или подвергнуться общественному порицанию, нет, смертной казнью наказываются адюльтер и выпивка. Секс и алкоголь. Что для европейца, какого-нибудь заурядного парижанина, барселонца, или, упаси боже, жителя порочного Амстердама, не просто банальная обыденность, а суть и смысл существования, естественная ткань его бытия.

Скорцезе приговорили к смерти. В ночь перед казнью Тамерлан перебил охрану тюрьмы и вместе с преступником скрылся, как пишут в криминальных сводках – скрылся в неизвестном направлении. Вместе с Тамерланом исчезли двадцать три миллиона долларов, вырученные от продажи героина, оружия и человеческих органов, деньги, которые он должен был передать в штаб-квартиру Фронта Аллаха в Эр-Ракка. Руководство Фронта объявило награду за голову Тамерлана в пять миллионов. Через неделю сумму удвоили. И опять без результата.

Через месяц Тамерлан всплыл в Пакистане, а после в Афганистане, в провинции Кундуз. К тому времени его отряд уже насчитывал около двухсот бойцов. Он не рекрутировал наивных неофитов и необстрелянных пацанов, он набирал профессионалов. Он платил им хорошие деньги в твёрдой американской валюте и его маленькая армия неизменно демонстрировала отменное мастерство в искусстве войны и смерти.

Прошлым сентябрём я собирала информацию для материала по группировке Тамерлана, часть статьи опубликовала «Нью-Йорк таймс» с моей фотографией на первой полосе; замаячила даже призрачная надежда на «Пулитцера», безусловно, наивная, приз получил какой-то идиот из «Лос-Анджелес Ревью». За репортаж о банде карликов-культуристов, спасавших бойцовых собак в окрестностях Сан-Франциско. Карлики – пятеро, одна из них женщина, выслеживали организаторов нелегальных собачьих боёв и ночью, перепилив прутья в собачьих клетках, уносили с собой питбулов и ротвейлеров. Собак предварительно усыпляли; один из карликов, индеец-чероки, утверждал, что он дипломированный собачий гипнотизёр и запросто может за три минуты усыпить пса любой масти среднего размера.

Мне не везёт хронически, для моего невезения следует придумать какой-то особый термин, нечто с приставкой «патолого»,

состоящий желательно из трёх зловещих слов, из трёх медицинских терминов неясного смысла. В глухой предрассветный час, когда темнота подступает к горлу и дышать становится неспособно, мне кажется, что я расплачиваюсь за чьи-то грехи и тогда все мои мытарства обретают логическую стройность и даже некое подобие изошрённой иезуитской миссии. Что-то типа трагического искупления, вроде средневековой истории из жития святых. Или страданий первых христианских мучеников. Появляется смысл в каждом шаге моего безрадостного бытия. Вроде лунных квадратов на бездонном полу церкви, ведущих мутной тропинкой к самому алтарю. Жертвенному алтарю, а не к какому иному. Пыль, вонь мастики и старого дерева – мне кажется так пахнут старые высохшие мумии. Труха в жёлтой и жёсткой, как картон, коже. Труха и грехи. Если бы меня попросили придумать запах к отчаянию, я бы выбрала именно этот. Аромат безнадежности.

Я давно перестала жаловаться, я не ною и не скулю. Не жалуясь даже самой себе. Я разучилась плакать. Там где у людей душа, у меня – чёрная дыра, воронка от бомбы. Рваная рана. Я не жалуясь, я подтверждаю диагноз. Но болезнь моя не из области медицины, доктора не отпускают грехи. Тем более, не мои, чужие.

Порой во мне звучит голос – не думаю, что это полнокровная шизофрения, я видела шизофреников – я ещё не добрела до того края. Голос мне знаком, он ласков, почти сердечен, этот голос. Он желает мне добра, тут сомнения нет. Это голос моего деда.

Куда ты зовёшь меня? Что ты там бормочешь, милый деда? Говоришь, что страха нет, страх придумали глупцы? Я знаю, знаю, милый деда, знаю – страха нет. Я и не боюсь. Мне осталось жить дней пять, неделю от силы: Тамерлан попытается получить за меня выкуп – миллион, может, три – разницы тут никакой. Американское правительство в переговоры с террористами не вступает, Америка бандитам денег не платит. Мой нью-йоркский главред Лизбет Ван-Хорн, крашенная сучка, думаю, просто перешлёт сообщение кому-нибудь на четырнадцатый этаж, добавив в титул письма строчку от себя «проблема в Москве». А эти, с четырнадцатого, даже не ответят – ведь всем известно, что Америка с террористами в переговоры не вступает.

Страха нет, умирать мне не в первый раз, да и мой старик

прав – какой от страха прок? Самое никчёмное чувство на свете, самое никудышное. Тревогу вселяет лишь стальная басовая струна, которой перепилили горло Виллу Буту.

Валерий Бочков окончил художественно-графический ф-т МГПИ в Москве. С 2000 года живет и работает в Вашингтоне.

Профессиональный художник, более десяти персональных выставок в Европе и США. Автор международного проекта «New World Money» («Новые Деньги Мира»). Основатель и креативный директор «The Val Bochkov Studio» – творческой студии, сотрудничающей в сфере визуальной коммуникации с ведущими рекламными и PR-агентствами США.

Он – известный писатель, член американского ПЕН-Клуба. Лауреат престижной российской «Русской премии» 2014 года (роман «К югу от Вирджинии»). Его романы издаются крупнейшим российским издательством «Эксмо». Постоянно печатается в московских литературных журналах.

Геннадий КАЦОВ

ИЗ ПРОШЛОГО – ТРАНЗИТОМ

Тридцать лет спустя

Вернуться в прошлое, и нас,
Уже почти тридцатилетних,
Увидеть, вспомнить имена –
От самых первых до последних.

Скупой, спартанский там уют
Как и у всех, вплоть до деталей,
И те, кого бессрочно ждут,
Заходят с репликой: «Не ждали?!»

Всегда там будет что налить,
И начиная с пива утром,
Путь в тысячу возможных ли
Начнут мудрейшие из мудрых.

Себя – последнее беречь:
Не стоит жертв ни век, ни город,
Быстрее портвейна льётся речь
И пепла в пепельницах горы.

Там звон стаканов, смех подруг,
Готовых хоть всю ночь трепаться,
Бычок от сигареты «Друг»
Слепым щенком оближет пальцы.

Хватило бы на всех цитат,
Но, начиная с самых древних,
Всё громче за окном листа
Прямая речь среди деревьев.

Вернуться в прошлое. Звонок
К входной двери прикручен криво,
И я легко, как только мог,
Его коснулся сиротливо.

Кто там? С вопросом? В этот миг,
Среди застолья и угара,
Кем покажусь я визави:
Чужим? Опасным? Лысым? Старым?

«Кто там?» – Он мне не отвечал,
Застыв в дверном проёме косо.
– «Чего б я шлялся по ночам?!»
Я дверь закрыл, вернувшись к тосту.

И на вопрос: «Кто приходил?» –
Пожал, как водится, плечами:
«Какой-то форменный дебил,
Из тех, что шляются ночами».

Параллельные времена

Океан – это бал из балетных пар,
фуэте оторвавшейся пены от гребней
волн над призрачным дном оркестровой ямы,
это в ритмы боря, в пространства ямба –
сноп лучей, словно вёсла небесной гребли
в предвкушении штормом рождённых па.

Так во сне мне привиделось, так во сне
я касался воды неподвижным взглядом,
с неба слизывал россыпи мелкой соли,

слышал голос высокий из «Песни Сольвейг»,
ярко-белые звуки со мною рядом
вниз летели, и сыпал на волны снег.

И нигде никого. Я был так одинок
только в детстве, однажды пропав среди взрослых:
в моде были комичные шейк с хали-гали,
но безудержно, празднично твист танцевали,
позыбыв о пропавшем, которому просто
заблудиться меж нижеколенных ног.

Игра в прятки

Ты ведь спрятался там, где тебя не найдёт никто,
И пока сосчитают, чтоб крикнуть: «Иду искать!» –
Ты собой заполняешь ближайшую из пустот,
И последнюю – по лабиринту – порвёшь из карт.

Здесь тебя не найдут, то есть выигрыш за тобой.
Ты и есть чёрной пылью шуршащая темнота,
А вокруг проигравшие ищут тебя гурьбой,
И весь вечер зовут, и всю ночь до утра, представь.

Детство склонно верить безучастной разлуке связь
Меж любовью и жутким отчаяньем – и кричат
Там, снаружи, до хрипа, покуда во тьме, трясясь
От беззвучного смеха, ты гробишь за часом час.

Так в грядущем «однажды», спустя много летозим,
Голоса узнавая родных, навсегда прощён,
Ты лежишь, заполняя пустоты, совсем один,
Обнимая всех тех, кто искать тебя обречён.

Истин больше не будет в любимом вине,
 Но и лжи – в непрременной закуске.
 После смерти трава обратится ко мне:
 – Будешь мной? – Да, – отвечу по-русски.

– Будешь мной? – воробей где-то там прокричит,
 Где его перепутаешь с эхом.
 – Почему бы и нет, ведь одна из причин,
 – Я скажу, – дальше некуда ехать.

Это всё. По идее, закончен маршрут,
 Если фразой одной подытожить.
 – Будешь нами? – толпа облаков тут как тут
 И сумняшесь, похоже, ничтоже.

– Будешь нами, – для старых друзей и родных
 В этом нет никакого вопроса.
 – Будешь мной, – это рядом твой голос возник
 Так привычно, негромко и просто.

Одного не услышать – подавлен и нем
 Из возможных в забвенье инстанций,
 Будет голос, и он бессловесному мне
 Не предложит: «Собою останься».

По обе стороны окна

Дождь долго капал, и за столько дней
 Мне удалось в своей тиши привыкнуть,
 Что пешеход в окне нелепо выгнут,
 А почерк на стекле в ночи видней.
 Стекали строчки, но в каком-то сне
 Я этот текст прочёл в одном из писем:
 Прозрачный лист был знаками исписан,
 В нём обращался пешеход ко мне.

Он мне писал о том, что каждый день
Из глубины оконного проёма
За ним слежу, и иногда от грома
Пугаюсь, словно общей с ним беде.
Он мне писал, что хочет пригласить
Меня в кафе, куда с утра заходит,
Но если вновь сегодня не свободен –
Ответ он стойко примет, как хасид.

Он мне признался, что готов давно
Пейзаж оставить, до последней лужи,
Когда бы знал, что больше мне не нужен,
Что жить смогу, зашторивши окно.
В своих нелепых просьбах был смешон
Он много дней, гуляя к остановке –
Я никогда, признаться в том неловко,
Не видел, чтоб автобус подошёл.

Похоже, он бессрочно просто ждал,
Раскрывши зонтик, от меня ответа:
И по окну стуча, писал об этом
Бесцветными чернилами дождя.
Когда-нибудь (к примеру, этот стих
Сейчас закончив) я ему замечу,
Царапая стекло: никто не вечен,
И я его согласен отпустить.

Какой ведь никакой, а всё же выход,
Хотя мы с ним сроднились, и почти
Он смог от одиночества спасти...
Так дождь ушёл. И снег в том месте выпал.

Человек распадается на
Чьи-то радости, встречи, несчастья,
На фамилии и имена,
Части речи, и просто на части,

Как века – на осколки минут;
И как сон в оглушающей вате
Разделяет, лишь только уснут,
Всех обнявшихся крепко в кроватях.

Остаются не столько слова
Или знаки, как в азбуке Морзе,
Препинания, сколько права
На забвеньё. И бирка из морга.

Заполняя кроссворд, впишешь в клетки Ла-Манш,
Что не сложно, поскольку и опыт, и годы;
Каждый день повторяешь себя, как оммаж, –
До Шопена, что грянет когда-то на коду.

Если осень – к услугам в шкафу кардиган,
Если лето – то модные шорты и майки,
И чем дольше – ясней: плутовской твой роман
Не от эллинов, так от ацтеков и майя.

Всё древней и привычней. И выйдя с утра
За газетой в киоск, ты себе не напомнишь,
Что стоял в этом месте вот также вчера,
Ибо время – времён, всеми прожитых, помесь.

Ибо время почти незаметно не зря,
И тот мальчик, заснувший с неистойвой верой,

Что на то он и сон, чтобы из октябрят
Поскорее с утра стать большим пионером, –

Он раскроет глаза, рядовой великан,
Подустват от пространства и бремени мира,
А по облаку бодро бежит таракан
И всё шире в окне дырка рыжая сыра.

Поколение книги

Как вздрогну – вспомню место жительства
(В те времена не выбирали), –
Поскольку Черноземье, житницу
Коммунистического рая.

Проспекты упирались в площади,
Как взгляд под вечер – в дно бутылки,
И чем паскудней было, проще тем
Попасться в местные бутылки.

Татары к югу от Геническа,
Сосед со сталинской наколкой,
А по углам с гигиенической,
В клозетах, целью – вонь карболки.

Повсюду дух дурной провинции,
Он въелся в планы новостроек,
И Моргунов, Никулин, Вицин –
Национальные герои.

От труб несёт тоской и серою,
Да потом в транспорте посконным:
Сто пятьдесят оттенков серого
В белье, покрывшем ряд балконов.

Не выходить бы век на улицу,
В места общественных лишений,

Где, словно одинокой курице,
Тебе свернут однажды шею.

Опасность никогда не кончится
В стране, где всё – периферия,
Где открываешь рот – и корчишься,
Поскольку всюду хор эриний.

И только ночью на свидании
С отксеренной, безликой книжкой,
Ты пастернаковские далии
И флоксы Бродского – в той нише,

В том из углов советской комнаты,
Что слова доброго не стоит,
Читаешь, и они запомнятся
Как дар. Среди руин Истории.

Последний бой Иоганнеса Брамса*

Был ранний, лучший для победы час.
Застыла кавалерия на флангах,
Артиллерийская томила часть
В тылах по центру, под раскрытым флагом.
«Вас, адъютант, я передать прошу:
Гвардейцы начинают из затакта –
На тему Шумана возникнет шум
В пехоте, перейдя в мажор атаки,
Пойдут полки экспромтом ми-бемоль,
Подняв штандарты, со словами гимна...»

«Мой генерал, прошу вас, боже мой:
Страшны не столько в этот час враги нам,
Сколько боязнь в бою вас потерять.
От имени всех старших офицеров,
Я умоляю: не бросайте рать,
Останьтесь в штабе, чтоб остаться целым!»

Главнокомандующий резко встал:
«Пустое, адъютант! Цена удачи –
Вся жизнь, обычно; и на пьедестал
Тому взойти, кого судьба не прячет».

Ему подали чёрного коня,
Он прочитал глазами партитуру
В последний раз, и дрожь в руках уняв,
«Трагическую» начал увертюру.
Сорвались тут же конники в галоп,
Сняряды разрывались где попало:
Из тех солдат, кому не повезло,
Кровь с оловом на землю вытекала.
И пуля-нота, попадая в такт,
Навылет через грудь прошла – мгновенно
Расплавилась редуты, адъютант,
Апрельский вид на утреннюю Вену.

Вплывали кучевые из окна
Рапсодиями в гроб фортепиано.
«Мой генерал! Я вас просил....» – и на
Глазах исчез солдатик оловянный.

- * *Композитор Брамс с детства играл с оловянными солдатиками.*
– Вы не жалеете свое время! – удивлялись друзья.
– Господа, вы не понимаете ни в творчестве, ни в оловянных солдатиках, – отвечал маэстро. – Стоит мне выстроить мою верную армию и командовать ей: «Вперед!» – ко мне немедленно приходит вдохновение, и в то время, как мои солдаты бегут на штурм, я бегу к роялю...

Геннадий Кацов был одним из организаторов московского легендарного клуба «Поэзия» (с 1987 по 1989 годы его директор) и участником московской литературной андерграундной группы «Эпсилон-салон» (отцы-основатели – Н. Байтов и А. Бараш).

В 1989 году переехал жить в США, где последние двадцать семь лет работает журналистом, начав свою журналистскую деятельность с программы Петра Вайля «Поверх барьеров» на радио «Сво-

бода». Вернулся к поэтической деятельности после 18-летнего перерыва в 2011 году. Автор восьми книг, включая экфрасический поэтический проект «Словосфера», в который вошли 180 поэтических текстов, инспирированных шедеврами мирового изобразительного искусства, от Треченто до наших дней.

Его поэтические сборники «Меж потолком и полом» и «365 дней вокруг Солнца» вошли в лонг-листы «Русской Премии» по итогам 2013 и 2014 годов соответственно; поэтическая подборка «Четыре слова на прощанье» вошла в шорт-лист Волошинского конкурса 2014 года, а поэтическая подборка «Ты в мире, но не от мира сего» – в лонг-лист Волошинского конкурса 2015 года. Лауреат премии литературного журнала «Дети Ра» (Москва) за 2014 год. Учредитель литературно-музыкальных вечеров в нью-йоркском музее им. Николая Рериха, сезон 2016-2017 годов. Публикации последних лет в различных литературных журналах.

Ольга КУЧКИНА

НОЧЬ СТЮАРДЕССЫ

Призрак прозы

Все совпадения случайны. Все события и персонажи вымышлены

Частная жизнь первых лиц государства в России окружена наипрожайшей тайной. Но именно к ней и привлечено пристальное внимание публики. Это приводит к тому, что даже малозначительные детали их реальной жизни становятся объектом сплетен и пересудов. Здесь иной случай.

Перед вами история любви одной пары. Опознать прототипы не составляет труда. Но это не документальная проза — это попытка реконструкции действительности, художественный вымысел хорошо осведомленного современника.

Из интервью Дмитрия Волчека с автором романа:

Личная жизнь Владимира Путина – величайшая государственная тайна. Возможно, он женат. Возможно, у него есть маленькие дети. Кажется, его бывшая жена снова вышла замуж. Никаких разъяснений Кремль не дает, оставляя простор для фантазий.

Писатель Ольга Кучкина посвятила свою новую книгу «Ночь стюардессы» истории знакомства, брака и развода Владимира Путина и Людмилы Шкробневой. Кучкина много лет проработала обозревателем «Комсомольской правды», но недавно покинула редакцию. «Мне было трудно пережить линию газеты, которая не совпадала с моей», – говорит она.

Частная жизнь политиков давно занимает Ольгу Кучкину. В книгах «Смертельная любовь» и «Любовь и жизнь как сестры» она рассказывает о женщинах в жизни Ленина, Сталина, Горбачева.

«Ночь стюардессы» – не журналистское расследование, а, по авторскому определению, «призрак прозы», документальный роман, написанный, как говорится в предисловии, «хорошо осведомленным современником». Ольга Кучкина пользовалась открытыми источниками, многое додумано, и у персонажей нет имен. Героиню зовут Дружочек (так в самом деле называл Путин свою жену), а героя – Джоконда.

История этого брака уже становилась материалом для художественного осмысления: в 2002 году был снят фильм «Поцелуй не для прессы», где Путина играл Андрей Панин, а его жену – Дарья Михайлова. Этот фильм 6 лет не выходил в прокат и лишь в 2008 году был выпущен на DVD. Предположительно, он вызвал недовольство в Кремле. У «Ночи стюардессы» схожая судьба: и литературные журналы, и издательства отвергли рукопись, опасаясь кремлевской мести.

Ольга Кучкина рассказывает о своем замысле:

– Ситуация совершенно волшебная: человек выходит замуж, проживает с мужем 33 года и потом вдруг объявляет, что все это окончено. Как завод выработал какую-то свою программу, так они выработали свою программу и расстались.

– *Банальнейшая ситуация, такие браки расторгаются каждые пять минут.*

– Но не так: перед камерой вдвоем, всё придумано, продумано, улыбки, все слова, которые надо сказать, отмерены – это не каждый день случается. Это все-таки пара уникальная, он возглавляет государство.

– *Действительно в российской истории подобного не было.*

– Когда Путин пришел к власти, один близкий мне человек, хороший физиогномист, сказал: с этим господином мы наплачемся. Я стала наблюдать за этим господином, мне как писателю он был интересен. И сейчас интересен. Такой любопытный персонаж! Я стала присматривать за ним, а присмотрев, решила, что обо всем, связанном с ним, писали, но любовные истории никто не трогал. Я тронула и поплатилась: никто не хочет печатать мою книгу.

Апрельские тезисы

1. Надо было как-то сказать девочкам. Невозможно было дальше плыть и не утонуть в этом море тотальной лжи. Хотя, по всей вероятности, они и так знали. А если не знали, то догадывались. Взрослые.

2. Море синело, голубело, зеленело, розовело, желтело и чернело – индивидуальная особенность ее зрачков позволяла видеть то, что было сокрыто от других. Может быть, ей надлежало стать художником.

3. Но скорее – писателем. Она любила слова, сочетания слов, искала в них смыслы, придавала им значение, какого, возможно, другие люди в них и не вкладывали.

4. В юности она хотела стать актрисой. Ничего удивительно-го. Все девчонки, если они хорошенькие, хотят стать актрисами. Нехорошенькие – тоже. Не все, но многие. Она была хорошенькая. Подходила к зеркалу, в зазеркалье возникало большелобое, большеглазое существо с совершенным овалом лица и без следа усмешки, это на людях была весельчак весельчаком – наедине с собой, изучая себя, сохраняла серьезность,

5. Тайная усмешка, прячущаяся в уголках его губ, делала его похожим на Джоконду. Она была потрясена, когда обнаружила эту похожесть, впервые увидев загадочную картину Леонардо да Винчи.

Пресс-конференция

– Первый канал. Почему вы так редко бываете на публике? Почему почти не даете интервью и не устраиваете пресс-конференций? Вы боитесь разговаривать с журналистами или вам запрещают?

– Кто?

– Ну, например, спецслужбы.

– Но вот я же перед вами.

Общий смех.

– Второй канал. Вы ощущаете себя самоценной личностью или ваш удел – находиться в тени вашего мужа?

– Знаете, как говорят: у великого мужа должна быть великая жена. Шутка.

Общий смех.

– Третий канал. Вы испытываете гордость за мужа?

– Гордость? Нет. Скорее, восхищение.

– А как вы относитесь к сплетням, распространяемым про него?

– Как к сплетням.

Общий смех.

– Четвертый канал. Простите несколько дамский вопрос, но у нас такой канал, состоящий из дамских вопросов. Вы считаете себя интересной женщиной?

– А вы?

Общий смех.

– Пятый канал. Что для вас главное в жизни?

– Жизнь.

Общее одобрение.

– Шестой канал. Ваши девочки прятались, когда были маленькими, но теперь они взрослые и могли бы уже, кажется, показаться на люди, почему они не делают этого? Вы им не разрешаете? Или муж не разрешает?

– Спросите у них.

– Как, если они скрываются?

– Вы сами сказали, что они уже взрослые. Это их выбор.

– У вас близкие отношения с дочерьми?

– Да.

– А у вашего мужа? Только не говорите: спросите его.

– Да.

– А на чью сторону они становятся, когда вы ссоритесь? Только не говорите, что вы не ссоритесь!

– Если вы запрещаете мне говорить одно и другое, о какой свободе слова может идти речь!

Общий смех.

– Седьмой канал. Вы считаете, что обладаете чувством юмора?

– Пожалуй, что нет.

Общий смех.

– Но вот вы же смеетесь.

Общий смех.

– Восьмой канал. Вам нравилось завтракать или ужинать только вдвоем с мужем?

- Хороший вопрос. Да.
- Вы завтракаете или ужинаете с ним сейчас?
- Он возвращается домой, когда я уже сплю, и уходит, когда я еще сплю. Вы вообще в курсе того, кем работает мой муж?
- Общий смех.
- Девятый канал. Вы искренний человек?
- А вы разве этого еще не поняли?
- Общий смех.
- А он?
- А этого вы тоже еще не поняли?
- Общий смех.
- Десятый канал. Ваш муж понимает вас?
- Я воспитывалась в такой традиции, в какой жена должна принимать мужа.
- Общее одобрение.
- Семнадцатый канал. Вы сильная?
- Да.
- Восемнадцатый канал. Как он по-домашнему называет вас? Или называл?
- Общее негодование.
- Я отвечу. Дружочек.

Ночь (1). Дождь

Даже дожди в двух столицах проливались по-разному.

В Питере – тотальная серость и сырость, мрак и сумрак, свинцовое поднебесье, давящее на плечи, впрочем, выносливые, способные вынести не только погоду, не жалуемся и никогда не жаловались.

Хотя в молодости плакать в Питере было хорошо. Слезы смешивались с текучими струйками дождя, скрытые от посторонних глаз. Милые заплаканные московские небеса облегчали душу сами по себе. Понравилось подслушанное в чужом разговоре: сиротский какой-то дождичек. И вдруг неожиданно разверзались хляби небесные, колотило с такой веселой яростью, будто хотело смыть все человеческие грехи, и так же неожиданно проходило, яркой синевой наливались дыры в небесной простыне, они увеличивались, раздвигались.

гая тучи, и вот уже солнце овладевало всей территорией, от земной зелени поднимался пар, небо стремительно просыхало, само смеясь своим проказам.

Питер ассоциировался со стильной осенью. Москва – с жарким летом. В Питере болела, в Москве – выздоравливала. В самом начале был период влюбленности в Ленинград. Но тогда она и была влюблена.

В первый экскурсионный прилет туда с коллегами по работе, числом пятнадцать, сели с подружкой в троллейбус, спросили: *до театра Ленсовета доедем?* Простецкого вида мужичок, оглядев их с ног до головы, серьезно ответил: *девушки вы молодые, крепкие, может, и доедете.*

Стоп. Красный свет.

Утешительно шелестел сиротский дождичек. Или иначе – ситничек. Окно было приоткрыто, слабый шум дождя врачевал.

Спустила ноги с постели, ночная рубашка задралась, оправила ее, босиком прошлепала к окну, прижалась горячим лбом к прохладному стеклу.

Regen – дождь по-немецки.

Rain – по-английски.

Pluie – если слабый дождь, или pleuvoir – если ливень, по-французски.

По-испански – Pllover. Мелкий, как сейчас – lluviamenuda. Lluvia con sol – грибной дождь.

На португальском – chuva.

У португальцев дождь – уважительная причина, чтобы не идти на работу.

В маленьком городке Уайнсберг в американском штате Огайо дождь идет сто лет кряду в один и тот же день июля, забыла, какой.

В XVIII веке Великобритания приняла закон о дожде, по нему за неверное предсказание дождя метеоролога казнили.

*Дождь проливным потоком
Стучит с утра в окно.
Ты от меня далеко,
Писем уже нет давно...*

Песенка, которую в детстве пела любимая мама певичка Клавдия Шульженко.

Сколько лишних знаний.

Нужных не хватало.

Зато отвлекало от того, о чем думать себе запретила.

Вернулась в постель, зажгла лампу, протянула руку за книгой, раскрыла на загнутом уголке страницы, неизжитая детская привычка, глупый французский детектив, специальное снотворное, впрочем, мало помогавшее. На худой конец имелись таблетки. Но это и было худым концом. Приходилось принимать их во все большем количестве. Врачи предостерегали от злоупотребления. Плевала она на их предостережения. Открыла ящик прикроватной тумбочки. Едва нащупала нужные блистеры, раздался тихий, четкий стук в дверь.

Почтальон

*Кто стучится в дверь ко мне
С толстой сумкой на ремне
С цифрой 5 на медной бляшке,
В старой форменной фуражке?
Это – он,
Это – он,
Ленинградский почтальон.*

Форменной фуражки не было. И почтальон был не ленинградский. Ленинград возникнет позже, в паре часов лету. Калининградский был почтальон.

Небо и земля. Так говорят, когда хотят подчеркнуть разницу: мол, такое же отличие, как неба от земли. Будущий Дружочек соединит в себе одно и другое: небесный полет и твердую почву под ногами. Это теперь они пастозные, отечные, отяжелевшие, а когда-то были стройные и легкие. Не бегала, а летала прямыми, аккуратными, немецкого фасона, улицами, мимо Кенигсбергского замка, мимо готического кафедрального собора, мимо кирхи Святого семейства, мимо музея янтаря и музея фортификации, и пусть по факту маршрут складывался иначе, все равно норовила пробежать любимыми улицами, составлявшими лицо города.

В школе говорили: советского по времени тут было неизмеримо меньше, чем немецкого. До 1255 года поселение называлось Твангсте, с 1255 года до 1946 года – город Кенигсберг. Имя дедушки Калинина присвоили городу ни с того ни с сего, когда дедушка отправился в мир иной. А сам город отошел к СССР от побежденной Германии по решению Потсдамской конференции, сперва временно, затем навсегда.

Она мечтала пойти в артистки. Занималась в драмкружке при Доме пионеров. Недавно прочла про себя у актрисы, которая вела драмкружок: *у нее была потрясающая внешность, она казалась ангелом, сошедшим с небес, ее белоснежные волосы так контрастировали с черными, как смоль, бровями и ярко-синими глазами, что, казалось, будто девочка накрашена.*

Фыркнула. Какие белоснежные волосы, когда всю жизнь ша-тенка, если не краситься. Может быть, она была в парике? И какой ангел, если ей удавались роли злодеек, особенно роль коварной Миледи в *Трех мушкетерах*. Перевоплощалась, конечно. Но и черпала что-то из собственных глубин. Собралась и полетела в Ленинград поступать в артистки. Конкурс прошла, а экзамен завалила. Пережила, взяла себя в руки. Умела брать себя в руки. Вернулась. Вдохнула и пошла помогать семье, что называется, из простых. Мама – кассир автоколонны, отец – почтальон. Устроилась почтальоном. Отец перешел на завод в токари-револьверщики. И она стала ученицей токаря-револьверщика на том же заводе. А еще поработала санитаркой в горбольнице. А еще – аккомпаниатором в Доме пионеров. А еще...

О, это девичество 70-х прошлого века! Неприхотливое, неприятзательное, невзыскательное, самоотверженное, ответственное, привыкшее довольствоваться малым. В том числе, тем, что *выбросили* или *дают*.

О, этот словарь 70-х прошлого века!

Вот *выбросили* женские сапожки. Не в том смысле, что выбросили на помойку, а в том, что эти самые сапожки поступили в торговую сеть.

Или, например, *дают* масло. То есть оно не лежит в свободной продаже в витрине магазина, посверкивая то золотой, то серебряной оберткой, а отрезанное от большого желтого сливочного куска

кусочком малым, в двести или триста грамм, отпускается одним этим кусочком в одни руки стоящих в длинной нервной очереди.

А то мать семейства посылает чадо за *сыром*. Не маасдамом, либо там камамбером, либо швейцарским, либо, не приведи Господь, пармезаном, привет из будущего, тогда и слов подобных не знали, а просто для бутербродов с сыром к завтраку. И дитя выстаивает очередь за брусочком масла, который, экономя, растягивали на пару недель, и очередь за сыром, который мог и не достаться, если припозднишься, и весь расхватывают, а после этого несется за сапожками, которые аккуратно носят следующие десять лет,

Словарь ее юности нынешним молодым непонятен. Нынешний словарь практически непонятен ее сверстникам и сверстницам. *Юзер и лузер. Софт и контент. Писюк. Сисадмин. Айтивишник. Аська. Гаджет. Логин. Браузер. Драйвер. Фейк. Листинг, нейминг и адвертайзинг. Гуглить и ангрейдить* и проч. и проч.

Лексикон, употребляемый нынешними молодыми, называется *хабрахабр*. Бр-р-р. Звук отображает суть. А она в том, что новая цифровая цивилизация выводит обычного человека, а вместе с ним и человечность, за скобки. Опасность трудно разглядеть с той малой высоты, на которой стоит обыкновенный юзер, а тем более лузер. Но если сделать попытку как бы приподняться, как бы привстать на цыпочки, как бы взлететь над пространством...

Хабрахабр не слишком пугал Дружочка. Во-первых, она знала языки, и овладеть каким-либо лексиконом не составляло для нее труда. Во-вторых, умела взлетать. В прямом и переносном смысле. Как стюардесса и как человек, в котором уживались трезвый рассудок и мечтательность. Она знала, что компьютерный язык, так мощно ворвавшийся в человеческое общение, предназначался поначалу для контроля за военной техникой и был разработан в Штатах, где именовался *Язык Ада*. Так звали некую Аду Лавлейс, в честь которой появился термин. На самом деле язык сам выбирает, какими звуками ему озвучить то или иное понятие. Хабрахабр. Язык Ада.

Тупая боль пульсировала в висках.

Сорок лет назад, попытайся кто-нибудь напророчить, на каких языках, где и с кем она станет разговаривать, рассмеялась бы пророку в лицо. Мечты были простые, как проста была девочка, ну

может, чуточку посложнее своих родителей. Так устроено на этом белом свете, что каждое последующее поколение чуточку сложнее предыдущего. Хотя, возможно, это заблуждение любого поколения.

Ей нравилось разносить газеты, вручать письма и телеграммы. Люди улыбались ей, потому что она улыбалась им. Она чувствовала себя как на подмостках. Она не собиралась всю жизнь быть почтальоном, она играла роль.

Страна сыпала снежной крупой и лопалась острыми зелеными почками, рассаживалась по трамваям, автобусам и троллейбусам, ехала откуда-то и куда-то, толстела и худела, болела и выздоравливала, получала полочки, выпивала и закусывала, а иногда и не закусывала, посещала кино и театры, кино чаще, чем театры, читала прозу и поэзию, прозу чаще, чем поэзию, шила, вязала, модничала и оставалась вне моды, не до того, плавала и загорала, встречала закаты и рассветы, объяснялась в любви и ссорилась, пела и плакала, рожала и хоронила своих мертвых. Почти ничего из жизни людей не отражалось в печатных изданиях, которые разносила по разным адресам молоденькая почтальонша. В них отражались пронумерованные съезды капэсэс и вээлкаэсэм, отчеты о достижениях тяжелой, машиностроительной, строительной, лесной, текстильной, пищевой и иной промышленности, выполнение и перевыполнение планов, количество произведенных станков, подъем урожайности, задачи профсоюзов, успехи политпросвещения и результаты соцсоревнований.

Людам это не могло быть и не было интересно. Была привычка. И обязателька. На работе следили, чтобы работники, проявляя сознательность, подписывались на печатную продукцию. Иногда это была газета *Правда*, иногда газета *Калининградская правда*. Не то, что малая чем-то отличалась от большой. Малая была дешевле.

Отец Дружочка подписывался на большую и почитывал ее по вечерам, а иногда и вслух, гордясь страной, в которой жил.

Дружочек, тоже гордясь, напевала:

*Мой адрес – не дом и не улица,
Мой адрес – Советский Союз!..*

То, что она пела нелепицу, проходило мимо сознания. Анали-

тик в ней в ту пору дремал, если не спал крепким сном. Подумай она хорошенько, могла бы сообразить, что любой гражданин в любом государстве жил на такой-то улице в доме с таким-то номером, там протекала его отличная от остальных, личная жизнь, а у нас выходило, что нет ни малейшей разницы, какая будет нашему гражданину фамилия, Иванов, Петров или Сидоров, поскольку никакой личной жизни, отличной от остальных, у нашего гражданина отродясь не было и не должно было быть. Один всепоглощающий адрес – Советский Союз – нивелировал жителей, как нивелировал металлические изделия револьверный станок ее отца.

Песни сопровождали жизнь советских девушек. Юношей тоже.

Нам песня строить и жить помогает...

Дружочек была музыкальна. Мыча одну за другой разные мелодии, навещала одинокую бабулю, сын которой посылал ей поздравительные открытки на Новый год, 1 мая и 7 ноября, а в остальные времена года помалкивал за недосугом. Неунывающей матери-одиночке с многочисленным выводком приносила раз в месяц полагавшееся от государства денежное пособие. Одна молодая женщина все ждала какую-то телеграмму, а когда Дружочек, наконец, ее принесла, адресатка, прочтя и побелев лицом, тихо свалилась на пол в глубоком обмороке, пришлось вызывать скорую. Ссохшийся старичок, выписывавший *Комсомольскую правду*, на вопрос Дружочка, зачем ему комсомольская, отвечал: *там чуть меньше врут*.

Опустошив почтальонскую сумку, Дружочек мчалась домой, распевая:

*Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.*

Ну, не знала. А что она могла знать про другие страны при железном-то занавесе? Не знала и не сравнивала.

Как хорошо мы плохо жили, скажет один знаменитый режиссер и остролов по прошествии сорока лет.

В Калининградской правде она прочтет, что осенью объявляется набор на курсы стюардесс. Страна который год не отрывалась от киноэкрана, на котором демонстрировался фильм *Еще раз про любовь*, с пышнотелой обладательницей чарующего голоса, красивой и выразительной артисткой Татьяной Дорониной в роли стюардессы Наташи и с красивым и выразительным артистом Александром Лазаревым в роли физика Евдокимова.

Все молодые люди Советского Союза мечтали стать физиками, а все девушки – стюардессами. Официально они именовались бортпроводницами.

В объявлении приводились условия: приятная внешность, возраст от 18 до 27 лет, рост от 165 до 185 см, хорошее здоровье, а также отсутствие судимостей. Она подходила по всем статьям, а все равно ненароком взглядывала в зеркало: *свет мой, зеркальце, скажи*. Зеркало бодро отзывалось: *не трусь, пройдешь*.

Позже узнала подробности: работа нервная, ненормированный рабочий день, постоянные стрессы и недосыпы, сохнет и быстро стареет кожа лица, все время на ногах, от этого варикоз вен, профзаболевание, плюс ко всему невысокая зарплата.

Романтик в ней не сдавался.

Родным сообщила, что едет на три месяца в Минск. Курсы бортпроводниц были в Минске.

Кастинг прошла без труда.

Было еще собеседование с психологом-женщиной. Психолог, внимательно на нее посмотрев, задала чудной вопрос: *а какие у вас отношения со смертью?* – *То есть*, не поняла она и тут же проговорила: *никаких*. – *И вы не боитесь летать?* – *Да нет вроде*. – *Но самолеты, бывает, падают, что вы станете делать в случае, если ваш самолет начнет падать*, спросила психолог-женщина, *испугаетесь, впадете в истерику?* – *Я думаю, в случае, если самолет начнет падать, у меня будет слишком много работы, чтобы пугаться и впадать в истерику*, подумав, отвечала она.

Умница девочка, сказала психолог-женщина.

Новая бортпроводница стала украшением Калининградского авиаотряда.

Знакомство

Все молодые люди, посмотрев фильм *Еще раз про любовь*, хотели стать физиками.

Кроме него. Он, посмотрев фильм *Подвиг разведчика*, с красивым и выразительным артистом Павлом Кадочниковым в роли разведчика Алексея Федотова, действовавшего в оккупированном городе под именем Генриха Эккерта, хотел стать разведчиком. И ничего, что некрасив и невыразителен. Невыразительность – это еще лучше для профессии. Спустя годы он произнесет сакраментальное: *один человек мог решить судьбу тысяч граждан – так во всяком случае я это понимал.*

Она была еще первоклашкой, с двумя толстыми косичками, за которые дергали влюбленные одноклассники, когда он уже был самостоятельный подросток, хулиган, задиравшийся в школе и имевший стойкую репутацию своего во дворе среди остальных хулиганов. Его даже в пионеры не принимали по этой причине. Зато, когда приняли, сразу заделался председателем совета отряда.

Он тоже был из простых, еще проще, чем она. Жили в тесной коммунальной квартире – отец получил комнату от завода, на котором работал. Мать была сама доброта, отец жесткий, как наждак, который он у отца же и таскал, чтобы обтачивать свои мальчишеские поделки. Эта смесь формировала характер. В подъезде водились крысы, вместе с другими мальчишками гонял их палками. Взбегал на пятый этаж пешком, лифт отсутствовал. Ни ванны, ни горячей воды. Воду разогревали на плите и мылись в тазу. Учился так себе, хотя уже в наши дни учителя разглядят в нем способности, какие, оказывается, дремали в белобрысом пацане-троечнике. Чего у него было не отнять, так это внутренней силы, двигавшей его поступками. Рано поняв, что его дальнейшая жизнь сложится так, как он ее сложит, сел за учебники и пошел в спортзал заниматься сперва боксом, который его разочаровал, а вслед за тем восточными единоборствами, в которых нашел то, что искал: спокойствие, владение собой, уверенность в себе. Все это обеспечивало позицию, неизменно привлекавшую его: скрытого лидера.

Что-то там, в его юности и позже, было такое, о чем он никогда ей не рассказывал. Была сомнительная личность, воспитатель, тре-

нер Леня-самбист, он же член питерской мафии. Когда в 1994 году Леню застрелят, то на кладбище возведут памятник, на котором выбьют собственноручно написанные им строчки: *Я умер, но бессмертна мафия. И стихи, от которых Дружочек неизменно краснела: Кинул последние в жизни две палки, и меня увезли на катафалке.*

Ничто не указывало на то, что дороги ленинградского паренька и калининградской девочки пересекутся. Между ними было пять лет разницы и два часа лету.

А между тем, парки, если в латинской версии, мойры – если в греческой, норны – если обратиться к викингам, уже плели свои нити.

Минует немало лет, когда она услышит:

*Одна, глухая, ниточку сучила.
Одна, немая, узелки плела.
Не отмеряя, путала, кружила,
Смеясь, слепая ниточку рвала.*

То, что пряталось на метафизическом уровне, молодым людям было, разумеется, неведомо. На физическом уровне они должны были предпринять усилие, чтобы двинуться навстречу друг другу. Допустим, завести знакомых – у него друг, у нее подруга, приятельствующие между собой. И тогда встретиться, скажем, года в двадцать два она и в двадцать семь он у театра Ленсовета, куда его пригласит друг, а ее – подруга. Та самая коллега по работе, с которой они сели в троллейбус, где на вопрос, доедут ли, получили такой смешной ответ. Они и рассмеялись. Настроение было превосходное – отчего не рассмеяться.

Они ехали в театр Ленсовета на популярный концерт популярного артиста Аркадия Райкина. И там смеялись до упаду. Райкин со своим гуттаперчевым лицом выходил на сцену в смятой фуражке, еле держась на ногах, в состоянии алкогольного опьянения, и делился с публикой своими проблемами: *дали два выходных... чтобы отдохнуть... по квартире пошататься... убивать время почему зря...* То была знаменитая миниатюра *В греческом зале, в греческом зале*, в ней симпатичный алкаш отправлялся в музей поднабраться культуры, раз уж дали два выходных. Следом шла другая, в ней артист

появлялся в облике кавказца (о, где ты, толерантность!), привыкшего к дефициту и блату, родимым пятнам социализма, и философствовал: *нет, в принципе ты прав... но глубоко ошибаешься... все идет к тому, что всюду все будет... изобилие будет, но хорошо ли это будет?..* Зал разражался хохотом, узнавая житейское и отдавая дань смелости артиста. Разумеется, смелость была разрешенная, только над житейским и дозволялось смеяться, и то едва ли не единственному Райкину. Но наша четверка, как и прочая публика, подобными проблемами не заморачивалась, отдыхая. Народ хотел отдохнуть, и власть охотно предоставляла ему эту возможность, тут они глубоко совпадали – наглядный образчик единения власти и народа. В дальнейшем он наматает это себе на ус.

В антракте направились в буфет. Пока стояли в очереди, будущий Дружочек не переставала острить, держа площадку, Райкин наваял. Будущий Джоконда улыбался, пока не так, как улыбается знаменитая молодая женщина на знаменитом портрете Леонардо, но тогда Дружочек ее еще не видела. Дружочку было семнадцать, когда Джоконду привезли в Москву, а Дружочек жила в Калининграде. Она увидит ее улыбку во Франции, в Лувре, когда у нее начнется совсем другая жизнь.

А пока ее новый знакомец как-то так криво усмехается, хотя чаще остается если не холоден, то прохладен. Получалось, что Дружочек зря старается.

Может, от этой тщеты усилий новый знакомец Дружочку, скорее, не понравился, нежели понравился. Какой-то невзрачный серый костюм, и сам под стать костюму. Однако, когда он сказал, что может достать билеты в Ленинградский мюзик-холл, все радостно согласились продолжать набираться *культурки*. И на второй день отправились в мюзик-холл. А на третий – опять встретились в театре Ленсовета. То есть Ленинград обернулся для всей четверки сплошным праздником.

Короткий отпуск кончился, друзей ждали трудовые будни. Он, никому не дававший номера своего телефона, написал его на бумажке и протянул ей. Она взяла, пообещала позвонить, когда окажется в Ленинграде в следующий раз. Он сказал, что работает в угрозыске. То, что она работает бортпроводницей, он догадался по ее униформе.

В окне иллюминатора

Начались свиданья. Теперь уже вдвоем, а не вчетвером.

Люди приходят на свиданья своими ногами или приезжают общественным транспортом. Она летала на свиданья самолетом.

Униформа ей очень шла. Темно-синяя облегающая бедра юбочка, такой же подчеркивающий грудь жакет, белая блузка, крошечная косынка в красно-синих тонах, повязанная по типу галстука, синяя же пилоточка, сумка через плечо – вид, закачаешься. Она и покачивалась на высоких каблуках, идя по взлетному полю или стоя в ленинградском троллейбусе, доставлявшем ее на свидание. Не таких высоких, какие диктует мода 2015-го, но все же. В воздухе, по совету подруг, переобувала лодочки в балетки, – все меньше вероятность варикоза.

В воздухе редко выдавалась свободная минута. Надо было рассадить пассажиров, устранить недоразумения, разнести напитки, включая алкоголь, раздать еду, выслушать претензии, смягчая их разъяснением, а то и шуткой, и все с улыбкой, спокойно и доброжелательно.

Уже потом, использовав эту самую свободную минуту, можно было присесть в служебном помещении, сняв с лица дежурную улыбку, чтобы дать лицевым мышцам отдохнуть от вечного напряжения. Тогда она и научилась надевать и снимать ее с лица, словно вещь, что в обычной земной жизни практиковалось, как говорили, только у американцев, – хмурое выражение было обычным выражением русского лица.

Никаких американцев в окружении Дружочка не было и быть не могло – откуда при железном занавесе взяться американцам! На собеседовании ей задавали вопрос о нежелательных контактах и одобрительно кивали головой, слушая ее чистосердечное признание, что таких контактов не имеется. Хотя летать она собиралась не на международных, а на внутренних линиях – Калининград был закрытым городом, международным сообщением тут и не пахло.

Американцы приехали в Москву и заодно посетили Питер только в 1980-м, когда проходила московская Олимпиада – тогда она их и увидела. И французов, и англичан, и немцев, и испанцев. Взирали на них как на инопланетян. Свободные, раскованные, веселые. Они

ей понравились. Она подумала, что, пожалуй, стоит начать изучать языки – немота тяготила.

Время менялось. Не стремительно, но все-таки.

И песни пелись уже другие.

*В который раз лечу Москва-Одесса –
Опять не выпускают самолет.
А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса,
Надежная, как весь гражданский флот...*

Напевала, покачиваясь на каблучках, придя на свиданье, назначенное где-нибудь в метро или в Летнем саду.

Написавший эту песенку назывался бард, хотя был он в чистом виде поэт. Как раз, когда в Москве официально открылась Олимпиада, неофициальный народ ломанулся на Таганку. От знакомых Дружочек услышала: лежал на сцене Таганки, бездвижный, с лицом спокойным навсегда, то есть не навсегда, конечно, а до той поры, как окончательно разрушится плоть и потеряется человеческий облик, останется только голый череп, такой же, какой держал в руках и к какому обращался Гамлет – последняя роль артиста-поэта на этой сцене, и живая река из зареванных людей струилась к театру, чтобы последними аплодисментами проводить его в последний путь.

В телевизоре ничего этого не показали. Сегодня говорят: нет в телевизоре – нет вообще. . В те поры в телевизоре не было, а в жизни было.

Она ждала нового друга в назначенном месте в назначенный час десять, пятнадцать, двадцать минут, полчаса, полтора часа, а он все не шел, и ей некуда было деться, не улетать же обратно в Калининград не солоно хлебавши, нетерпение сменялось недоумением, недоумение тревогой, тревога злостью, вслед за чем наступало полное безразличие к тому, будут ли продолжаться их отношения или на этом закончатся. Когда он, наконец, появлялся и чмокал ее в щеку, она была уже как выжатый лимон, и ей было все равно.

Что-то такое он умел, однако, отчего досада, злость и равнодушные таяли, как тает под солнышком февральский снег. Он наскоро просил прощенья, но было очевидно, что никакой особой вины он за собой не чувствует, а предлагает принять вещи такими, какие

есть, просто существуют дела поважнее их свиданий. Что за дела, он никогда не рассказывал, обойдясь раз и навсегда короткой фразой: *до обеда ловим, после обеда отпускаем*. Она смеялась – не стоило портить состоявшегося-таки свидания. Сильная сторона ее характера заключалась в том, что она не лелеяла своих сменявшихся настроений и не дулась – он ценил это. Ему было невдомек, что она работала над собой, чтобы не стать ему доукой. Или вдомек?

Мир стюардесс – чистка перышек, щебетанье, хрустальный смех, нечто неземное, кутающееся в перистые облака как в боа из страусиных перьев – таково в общих чертах представление публики об этом мире. Публика не знает подробностей. Поторопиться убрать использованную грязную посуду, поспешить с бумажным пакетом для рвотины, пока пассажир не заблевал себя, соседей и самолет, постараться успокоить дебошира, сумевшего напиться из мини-барных бутылочек до поросячьего визга, применив даже и физическую силу, которой у нее, эльфы и феи, заведомо меньше, чем у здорового бугая. Это тоже – мир стюардесс.

Она поднималась на борт самолета, переполненная ощущениями минувшего дня, снимала жакет и шапочку, оставаясь в белой блузке и поправляя перед зеркалом свои густые кудри, и когда шли на взлет, не отрывая глаз от быстро убегающей земли, шептала про себя таинственные молитвенные слова, которые когда-то услышала от бабушки: *иже еси на небеси...*

Она любила смотреть в окошко иллюминатора. Проплывавшие мимо каравеллы облаков лишь поначалу виделись сплошь белыми. Так же, как поначалу ей увидится сплошь синим море, когда она увидит его в первый раз. Стоило взглянуть в эту белизну и в эту синеву, и весь спектр красок открывался ей. Для чего природе такая роскошь, размышляла она, природа же себя не видит, значит вся природа старается для человека, то есть для нее? Мысль странно холодила горло. Товарки спрашивали: *что ты там все высматриваешь?* Она молча улыбалась, но как-то раз уронила: *и в небесах я вижу Бога*. Атеистки-товарки сделали большие глаза. Она засмеялась: *это Лермонтов*. Ее начитанность не угнетала. Она не хвасталась ею, не стремилась возвыситься за этот счет над остальными. Ее ровный характер обеспечивал ей симпатии коллег.

Нет, взмывая *в небеси*, она не встречала в тамошних облаках

Его. Однако ей хотелось надеяться, что за сонмом белоснежных, а на самом деле цветных облаков существует какой-то волшебный свет, который и есть Он. Как соединялась эта надежда с коммунистическим мировоззрением, присущим всему советскому народу, а комсомолкам в особенности, – Бог весть.

Видимо, Он ведал, раз допускал.

Кафе Сайгон

Она летала на свиданья самолетом – он приезжал на *Запорожье* с прогоревшим глушителем – матери дали в столовой вместо сдачи лотерейный билет, а билет вдруг взял да и выиграл *Запорожье*, которым он очень гордился. Гордился неявно, однако она училась различать оттенки его мимики и отмечала собственные успехи. Эта игра ее даже увлекала. Во всяком случае, это было интереснее, чем если бы ее спутник был открыт и простодушен. Девушки любят Печориных скорее, нежели Максим Максимычей.

Посещали концерты, гуляли по Невскому, он показывал ей достопримечательности по списку: Эрмитаж, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Казанский собор, *Медный всадник*, Петропавловская крепость, а также крейсер *Аврора* с пушкой, из которой был произведен залп, возвестивший о Великой Октябрьской революции, залп, которого в действительности не было, как выяснится позднее. Внутрь дворцов и соборов не заходили, довольно было внешнего осмотра. Восхищенная, она должна была признать, что калининградские достопримечательности меркнут в сравнении с питерскими.

Проголодавшись, заходили в *пирожковую* или в кафе *Север*, на западный манер *Норд*, он угощал ее сладостями, благо, фигурка позволяла.

Чувство накапливалось исподволь.

На последнем свидании она предложила ему сходить повеселиться в кафе *Сайгон*. Слух о значном местечке достиг и ее маленьких ушей. Рассказывали, что там, на углу Невского и Владимирского проспектов, собирается неформальная молодежь: поэты, художники, музыканты – андеграунд. Она все активнее проявляла интерес к языкам и знала, как это переводится: подполье. Хотелось посмотреть, что за подполье. Спросила: *почему Сайгон?* Она всегда его

спрашивала, а он всегда отвечал. Он многое знал про то и про это. Ее привлекали люди с кругозором. Выяснилось, что и про *Сайгон* ему известно. Он сказал, что сначала была безымянная кофейня, сменившая несколько названий, прижилось одно, легенда гласила, что какой-то рассерженный милицейский чин прикрикнул: *что вы тут курите, безобразники, какой-то Сайгон устроили!* Столица Южного Вьетнама была в ходу, в разгаре была война между американцами и вьетнамцами. С тех пор и пошло: Сайгон да Сайгон. На предложение зайти туда он ничего не ответил. Может быть, не услышал из-за дождя. Она повторила просьбу. Он состроил гримасу. Она увидела и слегка скисла. Он увидел, что она скисла, и, кажется, ему это не понравилось.

Погода оказалась на ее стороне. Днем зарядил мелкий дождь, а к вечеру вдруг полило, как из ведра. Они были как раз напротив *Сайгона*, не оставалось ничего другого, как спрятаться от водных потоков там.

А там, несмотря на довольно ранний час, уже дым стоял ко-ромыслом. Почему ко-ромыслом, мельком подумала она, как всегда, внимательная к словам. Публика дымила от души. Он использо-вал свой запас еще во дворе-колодце – начав заниматься спортом, бросил и больше не баловался. Она иной раз баловалась. Он был против, и она подчинилась. Выяснилось, что она не имеет ничего против подчинения. Подчиняясь, она как бы признавала его права на нее. Настаивал ли он на них – этого она не ведала, но подобных разговоров не затевала, приняв раз и навсегда, что он из тех, кому должна принадлежать инициатива.

Нашли местечко неподалеку от входа, она с любопытством ози-ралась, он вел себя так, будто бывал тут не раз.

Пестрая, безалаберная, противоречивая Москва собирала ста-дион в Лужниках на Ахмадулину, Вознесенского, Евтушенко, Рож-дественского. Чиновный и чинный Питер предоставлял маленькое помещение прокуренного *Сайгона* Бродскому, Рейну, Шемякину, Довлатову, Гребенщикову, Курехину. Впрочем, ко времени появле-ния здесь нашей парочки почти все они лет десять, как разъехались, кто куда, кто выдворен за границу, кто добровольно эмигрировал, кто переехал в первую столицу. Джоконде это было известно, так что он мог ненервничать, опасаясь нежелательной встречи. Правда,

в Питере оставались Гребенщиков с Курехиным, но их в тот вечер в Сайгоне, слава Богу, не было.

Тем не менее, по каким-то слабо уловимым признакам она ощутила, что он нервничает. Может, им, милицейским, запрещено вот так вот запросто слоняться по кабакам?

В нескольких шагах от них молодой человек невзрачной наружности играл на флейте.

Она всегда любила читать. И теперь, собираясь поступать в университет на западную филологию, то и дело бегала в библиотеку за книжками – начитывать багаж. Книжные сюжеты чудным образом пронизывали жизнь. Увидела музыканта и тотчас вспомнила Розенкранца с Гильденстерном. Те не умели играть на флейте, этот – умел. Со смешком поделилась знанием предмета со своим спутником. Тот никак не прореагировал. То ли не знал предмета, то ли ему это было неинтересно. Она оставила тему.

Посмотрели кофейную карту, в ней значились: маленький простой, маленький двойной, большой двойной. Решили пить большой двойной. Он сходил за кофе и пирожными, она слегка продрогла и теперь согревалась горячим питьем. На нее поглядывали, по его лицу нельзя было прочесть, то ли ему льстило, что с ним такая интересная девушка, то ли чужие взоры вызывали его неудовольствие. Она, в свою очередь, разглядывала публику, коротко стриженую и длинноволосую, в пиджаках с большими накладными плечами и рубашках с узкими галстучками, преобладала доморощенная джинса.

Она попросила его купить пачку сигарет. Он хмыкнул, но встал и пошел за сигаретами. А когда вернулся, она почувствовала, что что-то между ними серьезно разладилось. Она могла бы не курить, но ей точно жожа под хвост попала, она почему-то решила на этот раз не уступать ему и молча закурила. Возможно, свободные нравы Сайгона вот так вот непосредственно оказали на нее свое тлетворное влияние.

Кто-то читал стихи:

*Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король...*

Позднее она узнает, что стихи написала Аня Горенко, она же Анна Ахматова, которая станет ее любимой поэтессой.

Какие-то события посылали ей вперед себя известия о себе – она, как и все мы, не умела их прочесть.

Двое поднялись и принялись танцевать. К ним прибавилось еще несколько танцоров. Она глянула на него вопросительно, он в этот момент отхлебывал остывший кофе и не заметил вопроса в ее глазах. Или сделал вид, что не заметил. Приблизился худой, высокий, с волосней, закрывавшей пол-лица, позвал ее потанцевать. Она спросила: *ты не возражаешь?* Он усмехнулся и пожал плечами. Прочесть это можно было по-разному, как да и как нет. Она тряхнула кудрями, встала и двинулась за парнем, немедленно взявшим ее за руку. Он с подозрением относился к высоким, тщательно скрывая это. Это был другой человеческий класс. Он чуял в нем чуждость. И заранее выставлял шипы. Следовало, однако, признать, что они неплохо смотрелись вдвоем. Парень что-то говорил ей, она смеялась, что-то спрашивал, она оживленно отвечала. Парень подвел ее к флейтисту, флейтист, на мгновение опустив флейту, поцеловал ей руку.

Вернувшись на место, она увидела его играющие желваки. Он спросил: *ты знакома с этим лабухом?* Она отрицательно покачала головой: *нет.* – *А если нет, зачем давать ему целовать ручки?* Она вспыхнула. *А с этим, с танцором, знакома?* – *Тоже нет.* Он хмыкнул: *тебе, может, и нравится пребывать в этой копоту, только смотри не закопчись.* Она хотела сказать ему в ответ что-то остроумное, но остроумного не нашлось, и она промолчала. Он продолжил: *если ты так с первыми встречными-поперечными...* Она встала, оборвав его на полуслове: *пойдем.*

За ним водилась особенность: когда был возбужден – тараторил, когда спокоен – говорил нормально. На его скороговорку обратил внимание друг, знавший правила сценической речи: *ты должен перестать тараторить, это умаляет значение того, что ты говоришь, взвешенная речь более значима.* Он стал тренироваться и, в общем, избавился от этого недостатка. Когда по какой-то причине еле сдерживался – цедил слова. Сейчас цедил.

Они вышли в дождь. Сделав несколько шагов, он внезапно остановился и положил руки ей на плечи. Она почувствовала, что

он весь дрожит. Его дрожь передалась ей. Еще не понимая, что произошло, она спросила: *что произошло?* Он спросил, в свою очередь: *а ты еще не поняла?* Она отрицательно покачала головой: *нет*. В ответ услышала какую-то дичь: что они не подходят друг другу и должны расстаться. К такому она не была готова. Все еще думая, что это какое-то недоразумение, которое сейчас разъяснится, и все будет хорошо, она натужно расхохоталась: *это из-за того, что я танцевала с этим парнем?* Ей казалось еще, что все в ее власти, что она сейчас скажет нужные слова, и морок развеется. Она с жаром начала говорить, что он именно тот, кто ей нужен, но чем больше она говорила, тем меньше убежденности звучало в ее словах. Она умолкла. Он крепко обхватил ее голову обеими руками, больно поцеловал в губы и быстрым шагом ушел прочь, оставив ее стоять в полной растерянности посреди насквозь промокшего Невского проспекта.

Слава тебе, безысходная боль!..

Потоки слез смешались с потоками дождя.

Ночь (2). Визит

Она не заметила, как соскользнула туда, куда запретила себе соскальзывать.

Похоже, что она задремала и во сне потеряла контроль над собой.

Раздался тихий, но четкий стук в дверь. Вошел он.

– Я увидел полоску света, можно?

– Можно, – осевшим голосом проговорила она, одним движением смахивая блистеры со снотворным в ящик тумбочки

Он не входил к ней уже много месяцев.

Она вопросительно посмотрела на него. Опустив книгу на живот, пододвинулась, чтобы дать ему место.

Он был в расстегнутой на груди летней пижаме, новая, заметила она по привычке все замечать, протяни руку – коснешься гладкой безволосой груди.

На мгновение ее как кипятком ошпарила мысль, что все еще могло быть, как раньше.

Ничего, как раньше, быть не могло.

Днем она, просматривая новости по компьютеру, внезапно, теряя волю и подчиняясь необоримому желанию, кликнула его фотки: крупный план, крупный план, крупный план, план, на котором он улыбается улыбкой Джоконды, общий план, где он в камуфляже, с ружьем, обнаженный по пояс. Последнее неожиданно ударило ее с такой силой, что она застонала. То, что видела она одна, что принадлежало ей одной, теперь демонстрировалось всему миру, и в этом было неслыханное бесстыдство. Были еще фотки, где он с ней, когда он был еще с ней, и он с ней, с той, другой, и та, другая, победоносно-радостно, открыто-счастливо смеется, глядя ему прямо в глаза, и он, глядя прямо ей в глаза, одаривает ее любовной улыбкой. Кажется, это должно было поразить ее особенно болезненно. А нет. Она столько времени муштровала свою душу, что теперь, как стойкий оловянный солдатик, могла выдержать и не такое. А вот при виде его обнаженной груди вдруг потеряла контроль над собой.

– Лежи, я посижу рядом.

Расставание

Ему нравились женщины. Ему нравились красивые женщины. У него был опыт общения с ними, сладкий и горький. У него был сладкий и горький опыт общения с женщиной, которая должна была стать его женой. Он поставил меня в известность об этом эпизоде своей жизни, чтобы между нами не оставалось недоразумений. Или чтобы увидеть мою реакцию.

Все у них было на мази, объяснились, заказали в ателье ему – костюм, ей – свадебное платье, купили кольца, родителям она нравилась, был назначен день, когда идти расписываться в ЗАГС, приглашены гости. Перед самым ЗАГСом он сказал будущей жене, что им нужно поговорить. Его тон не предвещал ничего хорошего. Наверное, она побледнела. Или покраснела. А может, закусил губу. Он сказал, что свадьбы не будет, он все обдумал и понял, что они должны расстаться, и лучше сделать это сейчас, как это ни неприятно, чем сделаться несчастными на всю жизнь.

Почему? Почему они должны сделаться несчастными?

Наверное, она спрашивала его об этом. Наверное, она также спросила его что-нибудь в том роде, почему не сделал этого раньше, а не сейчас, когда уже приглашены гости. Или, когда куплены кольца. Или, когда его родители дали добро. Аргументы ничего не значили, она хваталась за любой, как за соломинку. *Наверное, я поступил как последний негодяй*, сказал он, *но другого выхода не было*.

Он умел принимать решения – что было, то было.

Тогда я выслушала его историю спокойно. И лишь оставшись одна, плакала, не зная толком, отчего.

У влюбленных слезы текут легко и целительно.

До внезапного насильственного разрыва я не знала, что влюблена. Со мной не случилось того, что называется любовью с первого взгляда. Случилась любовь со второго. Все происходило постепенно, страсти не одолевали меня. Я оставалась спокойной и веселой – ровно до той минуты, когда он объявил мне, так же, как той своей невесте, что мы должны расстаться. Но я не была ему невестой. А кем? Хорошей знакомой? С хорошими знакомыми не поступают так драматически.

Разрыв спровоцировал любовь. Что имеем, не храним, потерявши, плачем – материнская поговорка, которую раньше сознание обтекало, обрела реальный смысл. Лишь когда отнимают – становится понятно, *что* отняли. С женщинами так часто бывает.

Может быть, его отношения со мной попали в ту же колею, что и отношения с той девушкой? Получалось, что он как гоголевский Подколесин, мечтая о женитьбе и страшая ее, в последний момент выпрыгивал из окна. Ни о какой женитьбе между нами не шло и речи. Я не заговаривала – он ни намеком не обмолвился. Хотя я все больше привыкала и привязывалась к нему. Теперь надо было отвыкаться и отвыкать.

Удар был слишком тяжел.

Слава тебе, безысходная боль!

Умер вчера сероглазый король.

Мой сероглазый король исчез из моей жизни. Все равно что умер.

Записка

Когда я находилась в рейсе, было легче. В рейсе требовалось думать о своих обязанностях, а не о своей несчастной любви. Когда выдавались пустые от работы часы и дни, я погружалась в пучину страданий с головой.

Моя проблема заключалась в моей закрытости. Кто-то открывается первому встречному-поперечному, кто-то припадает к материнской груди, кто-то делится с подругами, кто-то вышибает клин клином, заведя себе нового друга. Я все таила в себе и заводила никого не собиралась. Я должна была по-прежнему держать фасон, полагаясь исключительно на себя. Возможно, мой секрет был секретом полишинеля, и по моей физиономии можно было прочесть больше, чем мне хотелось бы, – это ничего не меняло.

Возможно, мне следовало сделать какую-то попытку к примирению. Позвонить, как ни в чем не бывало. Либо снова попытаться объяснить ему, как я люблю его. То есть бегать за ним. Ничего этого я делать не умела и не хотела.

Не думала, не гадала, что со мной может стрястись такое.

Я уже жила в студенческом общежитии на Мытненской, поступив на испанское отделение филфака ЛГУ, в свободное время ездила к родным, но ничего им не рассказывала. Бродила родными улицами, по которым весело бегала юной почтальоншей, не знавшей ни тоски, ни печали, всеми привечаемой, и не находила утешения. По улицам, казавшимся тогда такими широкими, а нынче жалко сузившимся, ехали машины и шли люди, одетые преимущественно в черное и серое, отчего походило на стаю ворон, пассажиры входили и выходили из троллейбуса, нищий просил подаяния, подростки приставали к прохожим, стреляя сигареты, зажигались тусклые полуразбитые фонари, пахло бензином и соляжкой, – я чувствовала себя отравленной.

Одно происшествие развлекло меня. Я возвращалась домой, в нашей подворотне подпирал стену незнакомец. Увидев меня, он оторвался от стены и пересек мне дорогу, походило, что он ждал именно меня. Сгущались сумерки, кругом ни души, мы были вдвоем в пустом сумеречном пространстве. В другое время я, может быть, испугалась бы. Сейчас меня охраняли мои ангелы, испугая

свою вину за то, что оставили одну в тот роковой день расставанья с моим милым.

Про ангелов я начала думать буквально с первого дня в авиации, и когда повторяла слова бабушкиной молитвы, больше думала не о Нем, а о них, как если б они были где-то рядом, за моим плечом. Они были посредники между Ним и мной, с посредниками было проще.

Незнакомец крепко схватил меня за руку и начал ни с того, ни с сего умолять дать ему мой телефон. *С какой стати*, спросила я не столько удивленно, сколько надменно. Я умею быть надменной, если потребуется. Он начал рассказывать мне какие-то сказки про то, что сколько-то времени назад, увидев меня, да еще с такими грустными глазами, он потерял сон и покой и поклялся себе, что сумеет развеять грусть в моих глазах, и что лучше меня нет девушки на свете. *Вы лучшая девушка в СССР*, пробормотала я фразу из фильма *Еще раз про любовь*, которую Лазарев произносит в адрес Дорониной и которая стала столь популярной у стюардесс. Он, видимо, решил, что диалог завязался, и глаза его заблестели, как будто в них включили свет. Я сказала, что никакого телефона не дам, и попросила пропустить меня. Свет выключили. Мне показалось забавным это переключение, как в автомобильных фарах. Он еще что-то говорил про мою красоту, мне стало скучно, я дернулась, и тогда он отпустил меня. Я ушла.

По прошествии времени меня посетила шальная догадка: не он ли устроил мне эту проверку лояльности? У меня нет и не было никаких доказательств, но, зная его, я могла предположить, что и эта штучка из его штучек.

Но я извлекла из этого маленького события пользу. Я заставила себя посмотреть на вещи как бы из другого измерения и прекратить страдать. В конце концов, сказала я себе, у меня тоже есть своя гордость, я тоже не пальцем деланная, не на помойке же он меня нашел. Я сказала себе, что надо забыть его, и я забуду.

Я умею быть рассудительной.

Удивительный закон существует. Когда ты исчерпал все запасы страдания и перестал верить и надеяться, срабатывает накопившаяся энергетическая масса, и следует прорыв: тебе даруется желаемое. Парадокс в том, что ты, быть может, этого больше и не желаешь.

Я – желала.

В один прекрасный день я увидела прикрепленный к входной двери бумажный листок. На нем написано: *Да, дружок, это я. И номер телефона.*

Обвал.

Счастье труднее написать – живописать! – нежели несчастье.

Ну, предположим, это *Сороковая* Моцарта.

Либо сильный запах жасмина в саду.

Либо щенок, облизывающий тебе лицо.

Либо, когда в солнечный день летишь на лыжах с горы, и все кругом сверкает брильянтовой крошкой.

Либо вот умираешь хочешь по-маленькому и не знаешь, добежишь или нет, и, слава Богу, добежала.

Ночь (3). Конец сказки

В моем дипломе о высшем образовании, полученном на филологическом факультете Ленинградского университета, записано: филолог-романист.

Романистика – наука, изучающая романские языки. Но романистика – также и словесность, то есть собственно создание литературных произведений. Романист – писатель.

Сама запись в университетском дипломе указывала путь, на который раньше или позже мне следовало встать.

Жизнь щедро одарила переменами. Сколько их было в моей жизни!

Та, что ожидает, ни с чем не сравнима.

Мне нужно было обрести какое-то равновесие, занявшись чем-то, что могло бы отвлечь и увлечь. Храбрая мысль сесть-таки за роман толкалась в моем мозгу, как ребенок толкается во чреве матери.

У меня выйдет. У меня всегда все выходило. Почти всегда.

Сидя возле меня на постели, он сказал:

– Я хотел тебя попросить завтра причепуриться и все такое.

– Ты хочешь сказать, это будет завтра? – изо всех сил сохраняя спокойствие, спросила я.

Он кивнул:

– Да.

И хотя не он, а я была инициатором всего, сердце заныло, как ноет больной зуб.

Пожалуй, я ни в чем не уступала ему по характеру. Мы оба были рождены под знаком лидерства. Я сознательно выбрала позицию уступок – не хватало нам еще бодаться друг с другом.

В немногочисленных своих интервью я не устала подчеркивать, что это был он, тот, кто решал все в нашем союзе. А между тем, я еще когда писала родителям, что познакомилась с человеком, за которого хочу выйти замуж.

Обычно говорят: мужчина ухаживает за женщиной. Я, смеясь, говорила в компании друзей, что три года ухаживала за ним. Я была активной стороной, скрывая это от самой себя. Ухаживала я, а возможность решать предоставляла ему, зная, что только так могу его заполучить. Он, со своей стороны, три года не только проверял, но и приручал, приучал меня к себе.

Приучил и приручил. Мы прожили вместе тридцать лет. Тридцать лет и три года. Как в сказке.

Сказка кончилась.

У меня все было готово. Новый костюм, новые туфли, новая сумочка. Туфли и сумочку я выбирала долго и тщательно, костюм мне сшил мой замечательный дизайнер. Я не объясняла ему, для какой цели он шьется, только подробно обсудила каждую деталь, вплоть до пуговиц. Пуговицы, конечно, играли едва ли не главную роль. Он предложил мне сделать высокую отрезную талию. Я с сомнением покачала головой: *ты уверен?* Он знал все особенности моей фигуры с навек утраченной талией и слишком высокой грудью, и я могла ему доверять. *Уверен, сказал он, вы похудели, у вас обозначились почти прежние формы, вам пойдет.* Насчет прежних форм он, ясно, преувеличил. Он был хороший мальчик и хорошо ко мне относился. Он предложил синий цвет, белые отвороты, белые же продольные вставки у плеч и большой белый бант на груди. Я люблю синий цвет и сразу догадалась, что он хочет сделать отсылку к моей летной форме. Может быть, и он догадался? Но все-таки, подумав, я настояла на черном цвете. Мне показалось, черный будет более уместным. *А причем тут бант, слегка поморщилась я. Притом, что это не мундир, а белый бант только подчеркнет вашу женственность,* сказал он.

Минули те времена, когда я упорствовала в своих вкусах, за-

ставляя портних следовать моим указаниям и не обращая внимания на перешептывание так называемых светских дам, вылезших из грязи в князи и считавших себя законодательницами мод. Они фальшиво ахали при виде моего очередного наряда, а потом хихикали между собой, о чем мне, разумеется, доносили. *А мне нравится*, говорила я упрямо, вглядываясь в свое отражение в зеркале и убеждая себя в собственной правоте.

Но этот костюм был безукоризнен. На последней примерке, вертясь перед зеркалом так и сяк, я чуть не задохнулась от вида той прелести, что транслировало мне волшебное стекло и что на самом деле было мне больше ни к чему – уместнее было бы длинное черное бесформенное платье и скуфья на голове.

Этот прикид, прости Господи, очень шел матушке, попервоначалу выполняя роль демаркационной линии меж нами, не оставляя шанса на простоту и искренность. Однако именно матушкины простота и искренность растопили ледок, накопленный за время полета и раньше, до полета.

Я опять летела на свиданье самолетом. Только на этот раз не я обслуживала пассажиров. Бывшую скромную стюардессу отныне всегда будут обслуживать другие стюардессы. Также, как перед бывшим скромным подполковником госбезопасности будут гнуть выю генералы и маршалы всех родов войск. Сколь бы большим честолюбцем он ни был, а он был им, так далеко его честолюбие не простиралось. Не говоря уже обо мне. Ясность наступает, если следить жизнь от конца к началу. От начала к концу – все неясно. Судьба как старая гадалка мешала карты, сама решая, какую вытянуть и куда положить.

Свиданье было не с мужчиной, а с женщиной.

Авария

Из полного безмолвия, из недр мертвой жизни родился и начал нарастать гул живой жизни. Возвращалось потерянное сознание. Вмятая боковая дверь вжимала ее в сиденье машины, в волосах запутались стеклянные осколки, острая боль в шее заставила застонать. Все плыло как в тумане. Пронзила мысль: что с младшей? Какие-то люди суетились вокруг. Она хотела оглянуться назад и не

смогла: боль ослепила. Кто-то, поняв, сказал: *с девочкой все в порядке*. – *Что случилось*, выговорила с трудом. *В вашу шестерку врезалась восьмерка на светофоре*, сказали ей.

Постепенно картина прояснилась. Она ехала на утренник в школу, где должна была выступать старшая. Младшая увязалась ехать вместе. Завозилась, собираясь, – она поторопила дочь, они уже опаздывали. Сели в *жигуль*, малышка заняла свое обычное место сзади, и они помчались. Она была законопослушный водитель и соблюдала все знаки. Роковой светофор ждал ее, когда до школы оставалось три минуты. Дали зеленый, она рванула с места, и в это мгновение машина слева, не подчиняясь светофору, на высокой скорости врезалась ей в бок.

Во всем теле царила боль, но она владела собой. Продиктовала телефон, по которому позвонить насчет девочки. Загудела скорая, прибывшие санитары принялись вытаскивать ее из машины. Она не стала говорить, что ее муж – высокий чин в мэрии, посчитала неудобным, и ее отвезли в заштатную больницу имени 25-летия Октября. Она не была ни душечкой, ни капризницей, не вешала своих проблем ни на кого, привыкнув сама отвечать за свои поступки, не принадлежа, как сама говорила, к разряду женщин, которых надо носить на руках.

В больнице имени 25-летия Октября ее сразу доставили в операционную. Она лежала на операционном столе в свете ярких операционных ламп, как на сцене под юпитерами, раздетая догола, и ее трясло от холода. Ее осмотрели, зашили порванное ухо и не обратили внимания на переломы позвоночника и основания черепа. После чего повезли по длинным коридорам в реанимацию. В коридорах стояли тележки с трупами. По всей вероятности, останься она в больнице с таким торжественным названием, скончалась бы от посттравматического менингита, и ее тоже уложили бы на такую тележку.

Она все подмечала, но ни на что не реагировала – эмоции отключились.

В мэрии, куда сообщили об аварии, принимали иностранную делегацию, муж сопровождал ее и не мог отлучиться, но выкроил минуту, чтобы позвонить главе Военно-медицинской академии, и тот отправил в больницу имени 25-летия Октября

своего лучшего нейрохирурга. Лучший нейрохирург осмотрел ее и немедленно забрал в академию, где самолично провел несколько операций. Она все жаловалась, что у нее двигается челюсть и что ей от этого неловко. Придя в сознание, узнала, что ей разрезали шею спереди и сзади. И тут, наконец, она зарыдала. Ее устраивал овал ее лица, и было тяжело узнать о его потере. Хирурга поставили в известность, о чем плачет оперированная. Он зашел к ней в реанимационную палату и сказал: *дура, у тебя все было переломано, тебя ждал полный паралич, а ты плачешь о такой чепухе.* Шею он ей разрезал и сшил виртуозно – остались два маленьких шрама, и все.

Муж навещал ее в больнице нечасто, но почти ежедневно говорил с ней по телефону и дважды в неделю присылал свежие цветы. Она знала, что цветами занимается не он, а его секретарша, но это не обижало ее. Отсчет в их семье начинался с него, а не с нее. Он был любимый порученец мэра, отдававший все силы работе, в первую очередь, а муж своей жены – в оставшееся от работы время. Когда начнется судебный процесс, где наглый виновник аварии будет тягаться с ней по полной, она ни разу не обратится за помощью к мужу – все тяготы вынесет сама, без него. Так же, как без него выносила и родила старшую дочь. Он был в Москве, на переподготовке кадров, и смог приехать принять уже готового ребенка. Она любила сохранившуюся фотографию, на которой он в шляпе и с кружевным свертком в руках, такой смешной и милый.

Вся домашняя жизнь была на ней. Четыре дня в неделю преподавала немецкий в университете, водила девочек в детсад и в школу, на скрипку и балет и все успевала.

Но в первые сутки после аварии она, ослабнув духом, жалела себя. Лежа в четырехместной палате и глядя в потолок, она перебирала в памяти события последних дней. На потолке было расписано все по минутам.

Сначала она поцапалась с ним. Из-за пустяка, в сущности. Накануне вечером был прием у губернатора, она собиралась туда, но что-то подустала из-за дневных дел, и когда он позвонил, сказала, что ей не хочется идти. В ответ услышала скороговорку: *ну не хочешь, как хочешь, не заставляй себя.* То, что он не возражал, не уговаривал ее, а тут же отключился, сделав это чересчур охотно и

чересчур поспешно, испортило ей настроение. Обыкновенно такой женской мерехлюндии она себе не позволяла. А тут, наверное, просто переутомилась. Он явился, естественно, поздно, если не сказать, рано, она сделала вид, что спит. А утром ходила мрачная и даже не налила ему чаю и не посидела с ним за столом.

Он уехал, а она наступила на куклу, попавшуюся у двери ванной, отчего целлулоидное кукольное личико треснуло, и зашипела на младшую, что та повсюду разбрасывает свои игрушки, и ей не жалко, если мама поскользнется, и упадет, и сломает себе что-нибудь. Как накаркала. Что огорчило девочку больше, катастрофа с куклой или перспектива катастрофы с мамой, неизвестно, но слезы из глаз у нее полились обильно, хотя она вовсе не была плакса.

А накануне позвонил студент, которому она преподавала немецкий язык на кафедре усовершенствования учителей в университете, и начал что-то канючить насчет оценки, которую она ему поставила. Раньше он ей нравился, и как человек, и даже как мужчина – теперь она была разочарована и еле сдерживала раздражение.

Выходило кругом шестнадцать, она перебирала все шестнадцать по мелочам, вопрошая своих ангелов, сколько во всем случившемся ее вины.

Она смотрела на квадрат света на потолке, повторявший квадрат окна, и снова и снова слышала тот гул живой жизни, что пробивался из жизни мертвой, возвращая ее *оттуда сюда*, даруя продолжение. Может, таким варварским способом ее хотели предупредить? О чем?

В ней происходил какой-то внутренний переворот, но какой, она не понимала.

Она еле дождалась, когда сможет покинуть больницу и, хоть и с костылями, но ходить самостоятельно, чтобы полететь на Псковщину, в Снетогорский монастырь, к игуменье, с которой ее познакомили незадолго до аварии. Она могла остаться навсегда прикованной к постели. Она не могла. Если она хотела оставаться ему парой, женой, а не обузой, – а она хотела – она непременно должна была встать на ноги. И она встала. У нее тоже был характер – поискать.

В самолете волновалась. У нее опять немели пальцы, с чем она было справилась, и пересыхал рот. Отпивала по глоткам *боржом*, смотрела по давней привычке в окошко иллюминатора на скопления

белых облаков, потерявших цвет, и уговаривала себя быть взрослой женщиной, а не девочкой, которую то ли обижали, то ли наказывали за непослушание.

Она не заметила, как разговор с игуменьей, начавшийся почти как светский и необязательный, перетек в интимный и страшно важный, не в том смысле, в каком случаются важные интимные разговоры между подружками или, допустим, любовниками, а в том, в каком мы говорим наедине с собой, не всегда даже облекая мысли в слова, но всегда стремясь разобраться в чувствах. Сейчас она торопилась высказать все, что чувствовала, чтобы понять самое себя. Иногда теряла логику, путалась, возвращалась к одному и тому же по несколько раз – матушка терпеливо слушала, лишь изредка навязываям вопросом направляя ход беседы.

Она рассказывала все честно, лишь самую малость выгораживая себя.

Когда закончила, провела обеими ладонями по щекам – щеки были мокрые от слез, а она этого даже не заметила. Матушка, с необыкновенной теплотой глядя на нее, тихо сказала: *не жалея себя, Господь тебя пожалеет*. Она хотела возразить, почему же не пожалел, но матушка, словно услышав, продолжила: *Господь тебя любит, любит, потому не допустил, чтобы ты и твой ребенок погибли*.

Она чуть не захлебнулась избытком воздуха, заполнившим легкие, ей и вовсе не приходило такое на ум, и теперь ее переполняла горячая благодарность к Тому, Кто не допустил. *Он хотел тебя предупредить, а о чем, ты должна сама подумать*, сказала ласково матушка.

Она слышала: как корабль назовешь, так он и поплывет. Какое человеку дадут имя при рождении, таким он и будет жить. Их звали одинаково: игуменью и ее гостью. Так же, как звали одинаково ее и его первую невесту. Знаки, которые она пыталась разгадать, как пыталась вообще разгадать загадку жизни.

Когда она затевала разговоры на подобные темы с ним, он отнекивался и отшучивался, а иной раз и сердился. Она понимала, что он настолько вписан в конкретную жизнедеятельность, что на абстрактные проблемы, как он их определял, у него не остается ни времени, ни желания.

Она спросила матушку, как ей быть с ним, не желавшим вни-

кать в духовную сторону бытия. Матушка, улыбаясь, спросила: *а ты сразу вникла? Нет, пришлось признаться ей. Тебе понадобилось время, ну так и ему понадобится*, мягко проговорила игуменья.

Промелькнула мысль об ангелах. И тут же она спросила матушку: *а если я обращаюсь к ангелам, а не к Господу, какая разница? Сейчас ей было ловко спрашивать у игуменьи все самое-самое, о чем в обыденной жизни молчат. Какая разница, задумчиво переспросила игуменья, ая тебе ответчу. И ответила следующее: вот мы Псалтырь каждый день читаем по одной кафизмочке, когда лежит в келье Псалтырь, с ним Ангел находится, а когда Евангелие, с ним Господь находится, и кто читает Псалтырь – от земли до неба огненный столб, и сразу молитва к Престолу идет, и за кого молишься, с того грехи спадывают.*

Смысл сказанного был темен, и она не поняла матушку. Хотя ей показалось, что поняла. Не слова, а нечто помимо слов. Может быть, интонацию. И покой, который воцарился в ее душе, никуда не делся. И непередаваемую легкость, какую ощутила, ни с чем нельзя было сравнить. И потом, когда ей бывало плохо, она вызывала в памяти это переживание, и оно лечило.

После матушка пригласила ее отведать монастырской трапезы. Дружочек и сама была недурная кулинарка, но муж был, в общем, равнодушен к ее еде, и она не слишком радиво занималась ее приготовлением. Монастырский борщ и монастырский винегрет оказались настолько вкусны, что у нее за ушами трещало, как выражалась в ее детстве ее мать.

При расставании ей захотелось взять и поцеловать руку игуменьи, и она взяла и поцеловала.

Игуменья перекрестила ее.

Предложение

В Ленинграде цвела бедная, бледная, блеклая весна. Адмиралтейская игла прошивала небесную ткань редкой голубизны. Зеленый дым нежно окутывал деревья Летнего сада. Невская вода блестела, в ряби реки отражалась рябь высоких светлых облаков. Снимали тяжелое, зимнее, надевали легкое, нарядное. И Дружочек надела, и он любовался ею, и она чувствовала, что он любит, и радовалась этому.

То ли они находились в его комнате, то ли она мыла посуду после ужина у них на кухне – ее уже допускали до таких интимных домашних занятий, – когда он тронул ее за плечо и попросил: *сядь*. Она с недоумением обернулась. И тогда он произнес свое сакраментальное: *нам надо поговорить*. Она побледнела. Или покраснела. Или закусила губу. Или последовала еще какая-то физиологическая реакция. Она поняла, что сейчас он объявит: все кончено, и они расстаются. Чем нынче не угодила ему?

Итак, дружок, сказал он, прошло три года, ты, наверное, должна определиться в жизни, ты знаешь меня теперь, знаешь, какой у меня характер, он достаточно тяжелый, если тебя это не пугает, я предлагаю тебе выйти за меня замуж, я тебя люблю. И добавил: сейчас апрель, можем сыграть свадьбу в июле, 28 июля, например, если ты не против.

Он был, как всегда, рассудителен и четок. Эта полувоенная четкость выгодно отличала его от распространенного типа вялых и безответственных юношей. От него исходило ощущение надежности. Предлагая брак, он как бы сообщал ей, что школу она прошла, и ее можно взять на службу.

Она была не против.

Ночь (4). Диалог

– Я хочу спросить у тебя кое-что, что ты мне так никогда и не сказал.

– Что я тебе не сказал?

– Что случилось тогда между вами.

– Между кем и кем?

– Между тобой и твоей первой невестой.

– Смешно. Бывает первая жена. Я уж и забыл.

– Забыл первую невесту или что случилось?

– И то, и другое.

– А ты вспомни. Почему ты отказался от нее в последний момент?

– Предположим, потому что она искала самоутверждения за мой счет.

– А я не искала самоутверждения?

– Ты тоже искала. Но не за мой счет, а за свой. Ты любила сначала меня, а потом себя.

Она с трудом удержала готовые хлынуть слезы.

Медовый год

У людей бывает медовый месяц – у них был, можно сказать, медовый год. Весь год было ощущение праздника. Они оба как-то так сразу успокоились, и она больше не дергалась, что не так посмотрела и не то сказала, а он не дергал ее. Все было хорошо. Они научались слышать друг друга, и это приносило обоим чувство блаженного покоя.

В свадебное путешествие съездили на машине в Крым.

Настоящее свадебное путешествие у них случилось двумя годами раньше, когда он предложил ей поехать в теплые края, где и началась их близость.

Первое знакомство с морем отлилось строчками из милого ее сердцу Серебряного века:

*Над розовым морем всходила луна,
Во льду зеленела бутылка вина.
И томно кружились влюбленные пары
Под жалобный рокот гавайской гитары.*

Была влюбленная пара и было розовое море. А еще оно было сине-зеленое, и желто-оранжевое, и черно-серое – преломляющая сила ее оптической системы отменно несла свою службу.

Ее, привыкшую к кислой погоде, юг поразил. Щедрое солнце горячило кровь, легкий бриз освежал грудь и плечи, вино кружило голову – она никогда так не чувствовала свое тело, не испытывала такой физиологической радости просто от того, что она есть на этом белом свете. И он, конечно, он, – все было связано с ним. И ослепительное солнце, и ослепительное море, в котором она была готова барахтаться целыми днями. Барахтаться – поскольку не умела плавать. Он взялся научить. Получилось не сразу. Он смеялся, видя, как по-детски колотит она руками по воде, задыхается, отплеывается, и у нее никак не получается лечь уверенно на воду, как,

показывая, лежал он. Один раз она даже заплакала. А он, вместо того, чтобы успокоить, стал иронизировать над ней. Это было до того обидно, что она легла на воду и поплыла прочь от берега в открытое море. Он в несколько гребков догнал ее и повернул обратно. *Ты с ума сошла уплывать так далеко*, проговорил он, и она увидела, что он по-настоящему взволнован. Примирение было настолько же сладким, насколько сладкой была ссора. Ссоры в ту пору были неотъемлемой составной счастья. А он, улучив минуту, не преминул заметить: *видишь, как я был прав, когда не стал тебя жалеть, а наоборот, подначивал, чтобы у тебя разыграло самолюбие, и оно разыграло*. И добавил: *обрати внимание, я всегда прав*. Она обратила. *А ты смелая*, похвалил он ее. Было впечатление, что он постоянно принимает у нее какой-то экзамен. *Это не от смелости, а от отчаяния*, честно призналась она. *Одно связано с другим*, сказал он, и в который раз она с ним согласилась.

Сам он плавал отменно. Из Питера привез с собой подводное ружье, маску, ласты и матрас, и каждое утро они, со всем этим хозяйством, шли на море, где он облюбовал для своей охоты полуостровок, а точнее островок со скалистой перемычкой. Он ловко, как ящерка, перебирался туда, прилепляясь к вертикальным выступам камня. Звал ее, но у нее не было такой сноровки, как у него, и она укладывалась на матрас, а он плыл рядом, и так, вплавь, они добивались до цели. Он мог битый час не вылезать из воды, коченея в ожидании добычи, ей же, напротив, негде было укрыться от жестких солнечных лучей, какими они становились к полудню и позже, она обгорела до того, что у нее слезала кожа. Так же возвращались обратно, как правило, пустые.

В тот день, считая, что она уже достаточно опытная пловчиха, он отдал ей ружье и добытую, наконец-то, рыбину, которую лучше было назвать рыбкой, и двинулся в обратный путь, а ей велел плыть следом. С ружьем в руках. *Доплывешь*, спросил. *Доплыву*, храбро пообещала она.

Походило на то, что она потеряла сознание и так, в бессознательном состоянии, доплыла до места, потому что потом, как бы ни старалась воссоздать картину происшедшего, ей это не удавалось. Но очередной экзамен она выдержала.

Вечером варила уху. Он не признавал столовых, а тем более ре-

сторанов, да и денег особых не было. Она изощрялась в приобретении недорогих продуктов и изобретении из них приличных блюд. Он ел уху и в который раз рассказывал, как эта рыба выплыла прямо на него и, натолкнувшись на его взгляд, как загнипнотизированная, встала на месте и не уплывала, а продолжала смотреть, как будто он имел над ней тайную власть.

Она поймала себя на мысли, что понимает эту рыбу.

Потом он уснул и спал безмятежным сном, как ребенок, которому подарили, наконец, вымечтанную игрушку.

Ее уху он даже не похвалил.

Ну что ж, она знала, на что шла.

Над розовым морем...

В этот медовый период их жизни она тоже видела море розовым, а его – чутким, добрым, заботливым и внимательным и знала, что так теперь будет всегда.

Ей было двадцать пять, ему тридцать один, и они были счастливы.

Заграница

Он пришел домой и за ужином между прочим сообщил: *меня посылают на работу за границу. Одного, уточнила она. С семьей, уточнил он.*

Не в первый год их совместной жизни она узнала, где он на самом деле трудится. Она так и считала, что в уголовном розыске, пока общая подруга не открыла ей глаза: *в Комитете госбезопасности он трудится.* Была уязвлена, хоть не подала и виду. В самом деле, жена последней узнает о месте службы мужа – куда годится! Обыкновенная жена обыкновенного мужа. Не их случай. Чем дальше, тем больше убеждалась она в том, что ее муж не из числа обыкновенных, следовательно, от нее как жены требовалось что-то, что выводило и ее за грань обыкновенности. Не то, чтобы она задирала нос. Отнюдь. Наоборот. Она должна была считаться с тем, кто он есть, и соответствовать, помогать, а не мешать, то есть ни в коем случае не перетягивать одеяло на себя и, прежде всего, не устраивать ему сцен. Вот и

сейчас она просто сказала ему, что знает. Он пробросил коротко: *ну знаешь, и хорошо*. После, обдумывая новость, она решила, что это он и попросил подругу об услуге. Как-то нужно было, в конце концов, поставить ее в известность о его занятиях. Он провел операцию *подруга*. Такие вещи должны были происходить под его контролем.

Заграница была не из самых-самых. Прямо сказать, *наша* была заграница – восточно-европейская. Называлась *страна народной демократии*. Но и такая поражала воображение. В любую непогоду можно было выйти и пройтись по улице, не замарав ни одежды, ни обуви, настолько все было чисто. Дома также были чистые, аккуратные, прибранные. Витрины сверкали. Наибольшее впечатление на нее произвела торговля овощами. На родине продавщицы торговали в перепачканных грязью нитяных перчатках, поскольку вся картошка-моркошка была в земле и продавалась с комьями земли. Здесь овощи были тщательно промыты и, по большей части, расфасованы в красивые пластиковые пакеты.

С большими пластиковыми пакетами, куда укладывались все покупки, вышел и смех, и грех. Она никак не решалась выбросить ни один, настолько хороши они были, и копила в кухонном шкафчике, пока однажды он не полез туда за чем-то и, обнаружив ненужный склад, не заставил ее выбросить все на помойку.

Помойка – отдельная песня. Их было три, а не одна. Три бака, выкрашенные яркой зеленой, коричневой и синей красками. В первую складывались органические отходы, во вторую – пластик, картон и бумага, третья предназначалась для стекла. У нас таскали сдавать стеклотару за копейки в приемные пункты, у них эти копейки и не нужны были, так как народ жил пристойно, пристойно ел и пил, пристойно одевался, пристойно работал и пристойно отдыхал.

Они не могли пожаловаться, что жили на родине как-то уж совсем непристойно. Нормально жили. Государство заботилось о своих гражданах, и в смысле жилья, и в смысле бесплатной медицины, и вообще. Но все-таки в Питере они ютились в тесной коммуналке с его родителями, а здесь им дали отдельную трехкомнатную квартиру, которая показалась им образцом роскоши. Так что сейчас, по контрасту с нынешней, та жизнь виделась им, если не прибегать к эвфемизмам, достаточно убогой. Это не означало, что они готовы были променять ту жизнь на эту. Нет, ничего подобного это не оз-

начало. Они просто констатировали это как новые условия, в какие попали, и все.

С утра он завтракал и уходил в свою контору, по дороге заведя ребенка в ясли. Она убиралась в доме и шла за продуктами, на обратном пути забирая ребенка. Они уже обзавелись первенцем, на подходе был следующий, а пока она со своим животом таскала в одной руке тяжелую сумку с продуктами, в другой ребенка, и так поднималась пешком на шестой этаж, поскольку лифта не было, и ничего ей не было невмоготу, все вмоготу.

В настоящей загранице резидент трудился под прикрытием, официально именуясь, скажем, работником консульства или вторым секретарем посольства. В *нашей* наш открыто работал в связке с местными коллегами, хотя и значился директором Дома дружбы.

В чем заключалась его работа, она не знала и не спрашивала. Главное, что, судя по всему, его служба не грозила ему никакой опасностью – этого для нее было довольно. Сам он говорил: *до обеда читаем газеты, после обеда их переписываем*. Сколько тут было шутки, а сколько правды, неизвестно. Встречаясь с местными функционерами, надувался вместе с ними пивом, после чего отсылал отчеты об этих встречах в центр. Раз в неделю собирались в семь утра и гоняли мяч – для удовольствия и в целях борьбы с ожирением.

Худущие, оба располнели, и, если причиной ее полноты явилась беременность, причиной его – как раз пиво. У них в привычку вошло в выходные дни садиться в машину и объезжать окрестности, заезжая в маленькие городки поблизости – пить пиво. Дороги были отменны, пейзаж за окном очарователен, городки живописны – Европа есть Европа, пусть и Восточная: убажнение живота сопровождалось убажением глаз.

Развлекали себя вечеринками то у одних, то у других. Половину дома, в котором они жили, занимали также русские, работники различных служб. Делали все вскладчину, договаривались, кто что принесет, какое вино, но чаще удовлетворялись нашей русской водочкой. Принимающая сторона выставяла какое-нибудь коронное блюдо, за что хозяйке причиталась энная сумма восхвалений. Впрочем, все знали друг друга, как облупленные, и по-настоящему удивить никого никому практически не удавалось. Однако стара-

лись. Старалась и она. Он почти никогда не хвалил ее. Принцип, какому следовал с другими, на нее не распространялся. Он терпеть не мог этих семейных муси-пуси на людях. Она – тоже.

Она давно научилась вести себя в компании так, чтобы ни в чем не огорчать его, он и не огорчался. Он любил принять гостей, обыкновенно помалкивая, не претендуя на первые роли. Напротив, ему было по душе наблюдать веселье из какого-либо уголка. У него не было комплекса неполноценности, так, по крайней мере, считал сам и внушил ей. Просто такая позиция была ему удобнее. Смех по поводу остроты, отпущенной им, вполне его удовлетворял.

Товарищи хорошо к нему относились. Отчасти это было вызвано тем, что он никуда не лез, не переходил никому дорогу, умел проявить искренний интерес к сослуживцу и предпочитал хуле хвалу. Это плюс целеустремленность, работоспособность, дисциплинированность, инициативность и ответственность делали его идеальным чиновником.

Она была свидетелем разговора между ним и его другом еще в Питере. Друг констатировал, впрочем, беззлобно: *вот я музыкант, а ты кто, какая у тебя профессия?* – *А я специалист по человеческим отношениям*, был ответ. И очевидно, так оно и было.

Рассказывали анекдоты. Не политические. Политические опасались. Все потихоньку-полегоньку стучали друг на друга. Он рассказывал лучше всех. Это была его коронка.

В ходу было выражение *англичанка гадит*. Эта насмешка над тем, на что ссылалась советская пропаганда, во всем видевшая происки империалистов, было чуть ли не единственное, что они себе позволяли. Почему так сложилось, что почти ничего было нельзя, а это можно, никто не мог бы объяснить. Но фронда пользовалась неизменным успехом.

Да и то сказать, в атмосфере уже ощущалось слабое движение воздуха, как будто приоткрыли если не окно, то форточку – на подходе были ветры горбачевской перестройки.

Пели. У него был слабый, но приятный тенорок. И абсолютный музыкальный слух, такой же, как у его жены. Это поможет ему с немецким, французским и английским – на всех он станет говорить с минимальным акцентом. Обычно затягивал любимую:

*С чего начинается родина?
С картинки в твоём букваре...*

Все подхватывали.

Если в квартире имелся инструмент, она садилась к инструменту и подыгрывала.

Хоровое пение в застолье – томительная привычка народов с трудным историческим прошлым. Жизнь шла под песни. Как раньше, так и нынче. Нынче еще больше. И тогда возникал род ностальгии, которую собравшиеся подчеркивали каким-нибудь как бы случайно вырвавшимся словом или непроизвольным жестом, например, потирали задумчиво лоб либо вздыхали: эх!.. У некоторых увлажнялись глаза. Это считалось хорошим тоном и могло быть отмечено в каком-нибудь очередном донесении.

Женщины демонстрировали друг другу вновь приобретенные наряды, что опять-таки вызывало бурные восторги, хотя это не мешало на следующий день уже в более узком кругу не то, чтобы осуждать, но обсуждать вкус отсутствующей подруги.

Она уже тогда не находила удовольствия в этом занятии. Ей доставало ума догадаться, что так же, как чешут язычки насчет всех, точно так же они чешут и на ее счет. Помимо прочего, она понимала, что он осудил бы такое времяпрепровождение, предайся она ему. Она по-прежнему чувствовала, что он продолжает экзаменовывать ее, и это было ей ничуть не в тягость, а даже в радость, потому что свидетельствовало о его неослабевающем внимании к ней. Она чувствовала также, что стала ему настоящим партнером, и это приносило ей ни с чем не сравнимое удовлетворение.

Спорили о Горбачеве. Иной раз доходило чуть не до ора. В сущности, это было внове: разные советские люди выражали вслух разные, в том числе, антисоветские мнения. Как-то раз он сказал другу-сослуживцу, что Советский Союз – страна без законов и что надо брать пример с Соединенных Штатов, где построена идеальная общественная система. Очень интересное соображение – она запомнила его. Но это на улице и с глазу на глаз. Прежде себе и такого не позволяли. Советская доктрина исходила из единства рядов. Теперь возникали пылкие дискуссии: кто-то хотел новой жизни, кто-то цеплялся за старую. В зависимости от этого нового генсека либо на-

звали Мишкой Меченым, либо вспоминали олимпийскую песенку восьмидесятых: наш ласковый Миша.

В их семье, может быть, впервые не было ясности, как отнестись к происходящему и чем может встретить их родина. Как вариант рассматривали и такой: остаться здесь, став невозвращенцами.

Настал, однако, день, когда он пришел и сказал: *давай готовиться к отъезду. – Тебя отзывают*, поинтересовалась она. *Пока нет, но лучше быть готовыми, чтобы новая жизнь не застала врасплох. – А ты чувствуешь, что начинается новая жизнь*, спросила она. *Чувствую*, отозвался он.

Скоро они паковали чемоданы.

Приезжали втроем, уезжали – вчетвером.

Уезжали еще и с подарком: местные коллеги подарили подержанную стиральную машину, каких в отечестве не было.

А подруга-немка вручила книжку *Одаренные женщины в тени великих мужчин*.

Она поблагодарила подругу.

Пожар

Войска, дислоцировавшиеся в Восточной Европе согласно Варшавскому договору, покидали места дислокации. Покидала свою службу и разведка. Жгли секретные материалы. Бумаги было так много, что лопнула специальная печь для уничтожения бумаг.

В те дни случился эпизод, который произвел на Дружочка впечатление. Горбачев, повернувшийся лицом к демократии, сломал Берлинскую стену. Но еще до этого восточно-европейская публика забурлила, протестуя против старых порядков и требуя свобод. Манифестанты явились к стенам советской резиденции, пытались проникнуть внутрь. Будучи дежурным офицером, он встал в дверях и один сдержал натиск бушующей толпы. Вот когда она реально увидела, на что он способен.

Так же, как она увидела это, когда он закричал своим командирским голосом: *всем бегом из дома! не задерживаться! не копаться! быстро, я кому сказал!* Нужно было только слушаться его. Всем. Ей. Девочкам. Его секретарше. Мужу секретарши.

Пелена дыма накрыла их жизнь в считанные минуты. Столб

огня стал пожирать их только что заведенное – возведенное! – благополучие. Кирпичный загородный дом-красавец с высокими трубами и фигурными балконами всего лишь полтора месяца назад встал у озера, обещая жизнь гораздо более сладкую, нежели та, к какой они, было, привыкли, хотя и в нашей, но все-таки за границе. Быстро разобравшись с возможностями, какие сулил начавший строиться в стране капитализм, Джоконда дважды подавал рапорт об отставке. И дважды его не принимали. Он был уже подполковником, с одной стороны, и своим человеком в мэрии, с другой, и даже, можно сказать, правой рукой мэра, проявляя свои лучшие качества: работоспособность, преданность делу, ответственность. Приписку к ведомству, которая больше не приносила ему ни морального, ни материального удовлетворения, он ощущал теперь как вериги на ногах. Отныне его служебные успехи, а стало быть, и доходы, были напрямую связаны с гражданской службой в высших эшелонах власти.

Стоимость сгоревшего дома оценивали от шестидесяти до шестисот тысяч долларов. Столь большой разброс оценок объясняется скрытым характером собственности, как это сложилось в пору первоначального накопления капиталов в России.

Она не лезла в эти дела. Это была его епархия, и она ему безраздельно доверяла.

Двадцать четвертая *Волга*, которую удалось приобрести на скопленную в период заграничной командировки сумму, осталась в прошлом как пик успеха. Нынче имелись и хорошая квартира на Васильевском острове, и этот загородный дом у озера в ста километрах от Питера, и *дипломат*, набитый пачками долларов, хранившийся в доме.

Теперь они были погорельцы.

Выскочив из задымленного помещения в халатике, который то ли успела набросить, то ли не успела снять, она стояла в сторонке, ее знобило, и она повторяла как мантру одно и то же: *все будет хорошо, он их спасет, он их спасет*. Потом она скажет девочкам: *ваш папа – герой, настоящий герой*. Они и сами это знали. Они обожали его, а он обожал их. Ее роль заключалась в воспитании, его – в обожании. Впрочем, когда кто-то из журналистов высказал догадку, что дочери могли вить из него веревки, Дружочек в ответ только рассмеялась: *из нашего папы веревки вить никому не удастся*.

Электричество отключилось тотчас. Угарный газ заполнил целиком все дачное пространство. В темноте люди потерялись. Секретарша, не зная расположения комнат, искала лестницу, какой спуститься со второго этажа, где она уже собиралась отойти ко сну, и, промахивая мимо, впала в истерику. Там же оставалась старшая девочка. Младшая доедала что-то на кухне, готовясь тоже отправиться в спальню. Мужскую часть компании дым застал в сауне, где отмечали одновременно и новоселье, и конец его карьеры в Питерской мэрии. Шеф проиграл выборы, а он был руководителем его предвыборного штаба, – в который раз предстояло начинать жизнь заново. Днем было весело, никто не вешал носа, дети, пока сияло солнце, плескались в озере, к вечеру утомонились, их отсылали спать, когда все запылало.

Он выскочил из сауны голышом, успев лишь обернуться в простыни, и в таком виде ринулся на второй этаж. Там, не теряя ни секунды, связал простыни, перекинул их через балкон и приказал старшей дочери и секретарше спускаться по ним вниз. Дочь испуганно заверещала, что боится и никуда не полезет. Он яростно заорал, что сейчас выкинет ее с балкона как щенка – тогда она подчинилась. Девочка спустилась благополучно, а секретарша выпустила простыню из враз ослабевших рук и полетела напрямик на землю, рискуя разбиться. Счастье, что ее подхватил муж, только выбил ей плечо, которое позже поставят на место.

Спасши дочь и секретаршу, он вознамерился спасти еще и *дипломат* с долларешниками. Номер, однако, не удался. Огонь подобрался вплотную – еще несколько мгновений, и ему отсюда не выбраться. Голова оставалась холодной, как всегда, когда требовались решительные действия. Между деньгами и жизнью он выбрал жизнь. Окрестные жители, собравшиеся отовсюду, с любопытством глазели на голого мужика, спускавшегося вниз по связанным простыням.

Все пытались помочь погорельцам. Носили ведрами воду из озера – огню все было нипочем. Приехали пожарные. Сперва у них кончилась вода, затем не оказалось шланга брать воду из озера. Пока их машины трижды сновали туда-сюда, дом сторел до основания. Дом был из кирпича, но вся обшивка внутри – деревянная. И мебель, которую только что завезли и расставили, тоже деревянная. Дерево и полыхало.

Известно: люди смотрят на огонь как зачарованные, пусть даже в нем сгорает их собственное добро. Огонь жадно лизал внутренности дома, оконные стекла лопались, в проемы вырывались могучие огненные языки, она стояла и как заколдованная не могла оторвать глаз от всепожирающего пламени.

На всю последующую жизнь в ее памяти запечатлелось, как младшая, стоя рядом, потерянно говорила: *там же моя скрипочка осталась.*

Там остались их игрушки, которые они успели перевезти из городской квартиры, остались книги, словари, альбомы с фотографиями, все тряпки, вся косметика, которая так любезна женскому сердцу, посуда, разные там шторы и занавески, и что еще, что составляет наше ежедневное существование, о котором мы и не думаем, которое не берем в расчет, оно просто есть, и оно есть часть нас, и вот эта часть сгорает в огне, и мы в недоумении и вопрошании, как нам жить дальше.

Но тогда она не недоумевала и не вопрошала. А просто стояла и зачарованно смотрела на огонь.

Потом, когда ее спрашивали о пожаре, она неизменно отвечала: *ах, это скучная история.*

История и в самом деле казалась ей скучной. Оказалось, все может быть неважно: книги, платья, шубы, деньги – важна только сохраненная жизнь.

На пожаре остался простой оловянный крестик, который повесила Джоконде маленькому его мать, крестившая его. Он полагал, что крестик погиб в огне. Но рабочие, которые явились разбирать завалы, чтобы построить новый дом на месте старого, нашли оловянный крестик в золе и отдали ему. Вот тогда он впервые повернулся в ту сторону, о какой говорила игуменья Снетогорского женского монастыря.

Причиной возгорания объявят халтурно сложенную работягами печку в сауне – финская фирма, строившая дом и нанимавшая работяг на месте, возьмет на себя его восстановление. Будь хозяин дома рядовым гражданином, удалось ли бы без хлопот то, что удалось нерядовому?

Дружочек подобными мыслями себя не терзала. Джоконда – тем более.

Ночь (5). Кефир

Он встал.

– Постой, – сказала она сухим голосом, справившись с собой.
– Дай-ка я встану.

Он выжидательно смотрел на нее. Она дотянулась до шелкового халата, висевшего на спинке кровати, набросила его на себя и предложила:

– А давай выпьем кефира!

Он хмыкнул:

– Давай.

Она подошла к маленькому холодильнику, который завела у себя в спальне с тех пор, как ее стала одолевать бессонница, открыла дверцу, вынула пакет с кефиром и поспешно закрыла: не хотелось, чтобы он видел почти приконченную бутылку водки.

У них это было в традиции: как бы поздно он ни вернулся, она ждала его, и они вместе пили кефир на ночь.

Мало ли, какие у них были традиции.

Был случай, когда в последний день старого года, в канун Нового, она сопровождала его в поездке в Чечню, куда он летел по своим рабочим делам, и, отвечая на не заданный тактичными журналистами вопрос о ее присутствии в самолете и в вертолете, сказал: *а что жена со мной поехала, так мы привыкли встречать Новый год всегда вместе*. Это когда они всей компанией распили прямо в воздухе пару бутылок шампанского. Пили из горла, не то, что фужеров – стаканов не было.

Как привыкли – так и отвыкли.

На свое 55-летие он целый день катался с одним из ближайших клеветов на лыжах, и все телеканалы это показали. А ведь когда-то, когда все только начиналось, занимались горнолыжным спортом вместе. Она ни в чем не хотела от него отставать и тоже мужественно встала на лыжи. Ездили в Кавголово. Дорога была длинной: трамваем, метро, электричкой, ногами, с тяжелой поклажей. Но тогда все было легко. Сияло небо, сиял снег, сияли глаза влюбленных.

Нынче утверждалось, что она не любит публичности и оттого сидит дома. А что она при этом чувствует, никого не волновало. Кто-то рассказал ей анекдот про собаку, которая говорила: *люди ду-*

мают, что мы любим кости, а мы любим мясо. Она и была та собака. Впрочем, после аварии, в какую она попала, ей все равно нельзя было становиться на лыжи: сломанная спина переменила жизнь.

Взяв пакет кефира, шарила на полке над холодильником в поисках второго стакана – один стоял на прикроватной тумбочке

Он сказал:

– Я достану.

Она пробормотала:

– Ночной кефир струит эфир, шумит, бежит Гвадалквивир...

Это была их постоянная шутка, давно позабытая.

Он не выдал никакой реакции.

Пили кефир молча, и ей хотелось плеснуть этим кефиром ему в лицо.

Перемена участи

31 декабря 1999 года глава корпорации обратился по телевидению с речью к согражданам.

Осталось совсем немного времени до наступления магической даты, сказал он.

Он ошибся, как и все мы. По всему миру прокатилась волна неслыханных и невиданных фейерверков. Небо над Парижем и Лондоном, Берлином и Веной, Римом и Мадридом, Стокгольмом и Осло, Варшавой и Прагой, Пекином и Токио, Нью-Йорком и Москвой расцвело гигантскими волшебными цветами. Мастера света соревновались в оригинальности, постаравшись сочинить сумасшедшие праздничные фейерверки.

Весь мир подумал, что наступает миллениум – новый год, новый век, новое тысячелетие. Напрасно знающие люди пытались объяснить, что надо прожить еще этот новый год, и только по его окончании наступит магическая дата. Их никто не слышал и не слушал.

Так, с фактической ошибки, началась добровольная отставка главы корпорации, передавшего власть преемнику. Возможно, тут и следует искать метафизический корень дальнейших ошибок преемника.

В конце речи глава назвал его имя, и это было имя мужа Дружочка.

Он ничего не сказал ей заранее. Из боязни ли сглазить, из привычки к конспирации или из установленного в их чиновном мире правила молчать до тех пор, пока не поставлена последняя точка. Никто из обыкновенных людей и понятия не имеет, от каких мелочей зависят иной раз судьбоносные решения, от которых, в свою очередь, зависит жизнь не только целой корпорации, но, бывает, и мира в целом.

Они давно уже всей семьей перебрались в Москву, Джоконда уверенно взбирался по служебной лестнице выше и выше, но такой сногшибательной новости Дружочек не ожидала.

Некоторое время она пребывала в ступоре. Взяв себя в руки, пошла к девочкам, сказала.

Младшая в первую минуту решила, что мама шутит. Но это был первый день миллениума – как все тогда думали, – а не первый день апреля. И уже во вторую минуту девочка поняла, что так шутить мама не станет.

Телефон как начал, так и продолжал звонить, не переставая. Звонили одноклассники, учителя, знакомые, друзья. Девочки принимали поздравления, как будто это их назначили на высокий пост. Сразу обеих. Младшая потом говорила: *мне, с одной стороны, хотелось, чтобы его назначили, а с другой не хотелось*. Старшая говорила: *а мне, с одной стороны, не хотелось, а с другой хотелось*. В семье было неплохо с юмором.

Она горевала так, словно в семью пришло настоящее горе. Он отучил ее плакать, поскольку терпеть не мог женских слез. А тут они лились и лились, не переставая. Она шла в ванную, умывалась холодной водой – не помогало. Она плакала по-девчоночьи, от души, со всхлипами, и он не ругал ее, а уговаривал: *ну что ты, дурочка, все будет, как прежде*. Но она знала, что как прежде, не будет, будет полная перемена участи, и прощалась с чем-то, что больше никогда не вернется.

Жилые метры

Сложности с жилыми метрами, как у всех, родительские комнаты в коммуналке, сгоревший дачный дом у озера – кто бы мог подумать, куда вывернет кривая судьбы!

А она вывернула:
в усадьбу *Ново-Огарево* под Москвой,
в национальный парк *Завидово* в Тверской области,
в Константиновский дворец в Стрельне под Питером,
в *Долгие бороды* на Валдае,
в *Бочаров ручей* в Сочи
и еще в целый ряд резиденций.

На самом деле резиденции принадлежали корпорации, и Джо-конда вправе был распоряжаться ими только, пока стоял во главе корпорации. Но чем дальше шло время, тем больше он впрягался в свое новое назначение, влипал, укоренялся в нем, срастаясь с ним как с родным, и уже трудно было вообразить себя отдельно ото всех этих прелестей.

Ново-Огарево, основное его местопребывание, перестроили согласно его пожеланиям: удобный жилой дом, впечатляющий дом приемов, гостевой дом с кинозалом, спортзал, огромный бассейн, шикарная конюшня в немецком стиле, вертолетная площадка, храм, теплицы, птичник и всякая подсобка. Может, кто-то и облизнется, но и тот, кто облизнется, вынужден будет признать, что все функционально и рационально.

Другой вопрос: много ли человеку земли нужно?

Дружочек читала у Толстого вещь с таким названием. Про мужика Пахома, которому башкиры предлагают столько земли в вечное пользование, сколько он сумеет обежать от восхода солнца до заката. И вот бежит Пахом, и все кажется ему, что рано заворачивать назад, еще и еще землицы отхватить хочется, а уж когда завернул, сила совсем ушла, на самых малых остатках ее добежал и свалился замертво. Сколько земли нужно было, чтобы гроб хватило поставить, столько ему и выделили.

Всякий раз, как она читала эту вещь, саднило горло, как будто заболела. Они не были жадными в быту. Как тогда, когда у них сторел дом у озера, так и потом, когда сторали должности, бизнесы, капиталы, не жалели потерь – отчего-то была уверенность, что возродятся и обретут все наново. И возрождались, и обретали.

В чем же тогда было дело?

Есть люди, которые не умеют или не хотят додумывать до конца свои мысли. Вот кажется, еще немного, и наступит полная ясность,

но что-то путается у них в головах, наплывающий туман скрывает уже продуманное, размывает очертания, мысль уплывает, и за хвостик ее не схватишь.

Дружочек была другой породы. Пожалуй, ей был присущ не женский, а мужской тип мышления, логичный и жесткий.

Она боялась его перерождения.

Она молилась за него, чтобы не обольстился властью.

Она догадывалась, что постепенные перемены могут быть чреватые большей опасностью, нежели перемены внезапные.

Окончание – в следующем номере

Ольга Кучкина – поэт, прозаик, журналист, драматург. Многие годы работала обозревателем газеты «Комсомольская правда». Член Союза писателей Москвы. Член Русского ПЕН-центра. Академик РАЕН.

Автор более 25 книг. Отмечена рядом премий.

Пьесы, стихи и проза публиковались в различных журналах.

Спектакль «Белое лето» по пьесе О. Кучкиной шёл на сцене театра имени Ермоловой, «Страсти по Варваре» – на сцене театра-студии Олега Табакова и в университетском театре Сент-Луиса (США), «Иосиф и Надежда, или Кремлёвский театр» – на сценах Англии, Франции, Финляндии, Швеции, Японии. В театре имени Гоголя несколько последних сезонов игрались пьесы «Мур, сын Цветаевой» и «Мистраль».

Дмитрий БУРАГО

СТИХИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Рафаэлю Левчину

1

Когда умирают пилоты –
взлетают в сердцах террористы,
артисты особой породы,
особой любви пацифисты.

Что пишет паяц из окопа?
Что ищет в сиреновом снеге?
К кому это все, Пенелопа?
В каком утаилось побеге?

Взрываются тучи в зарницах.
Летят над землей аргонавты.
Яснится в зерне, нерестится
цветная и сочная правда.

Привет вам, кентаврово семя,
на сверхзвуковых перекатах!
Не время летит вам, не время –
подростки в небесных заплатах,

вы новые маски возьмете,
объявите новые звуки
и в глиняном солнцевороте
пропьете разлуки!

2

В бумажном самолетике
кружатся буквы-ягодки –
машинописи ротики,
простроченные загодя.

Что было, то прописано,
что не было – раздавлено,
и видимо-невидимо
аэростатов ряженных

над нашим домом, сценою,
над огородом с рельсами:
печатное столетие
без цели и без действия.

Зависла карта памяти –
все время самолетики:
раскладывая наживо,
разгадывай по прочеркам,

что под копирку выжато,
что стерто суеверием.
Страну, в которой выжили,
кириллицей отмерили.

Летит над Атлантидою
прозрачный лайнер солнечный
в болота наши сизые,
где не доступен роуминг.

Летит без оправдания
в стадах небесных буйволов,
где на краю сознания
стоят деревья буйные.

Летит от буквы к буквице,
от гневного до трепета,
когда судьбе попутчице
уже укрыться некуда.

Все полюса распахнуты
крылам бумажных витязей,
а на экране пасмурно,
и в зале не до зрителей.

В бумажном самолетике
кружатся буквы-ягодки –
машинописи ротики,
простроченные загодя.

Косари

Я следил за экраном во время дождя –
дождь косился на окна.
Нас сводила на осень не ночь, а вражда,
разложив на волокна.

Рассекая на брызги гортани высот,
расплетая разлуки,
дождь выщипывал из пешеходных пустот
босоногие звуки.

Карандашные трели вели фонари
по картонным развалам.
Всхлип за всхлипом, а в город вошли косари
в одеянии алом.

Их характер известен, движенья просты,
даже псы из окраин
затаились огрызками злой темноты,
как застывшего лая.

Косари гонят темень с пугливых дворов,
подаваясь размаху,
окаянные тени, лишаясь голов,
приседают со страху.

Даже дождь, беспокойно сбегая с моста,
опрокинулся в реку –
и очнулась забрызганная суета
городских человек.

Фантазеры

Один за другим потянулись к реке фантазеры,
на цепких мостках притаились лукавые снасти,
клюет на мостырку, червя, на опарыш, на шорох
в разинутом зеве, в разверзнутой пропасти-страсти.

Что ловят они, застывая в губах парашета,
комочки смычные, горячие мякиши звука,
их слижет простуда, примнет бестолковость рассвета,
и тихо вернутся в свою и чужую разлуку.

Пока не стемнело и волны ведут изложение –
диктуют улыбки Днепра изумрудные ряби,
их рыбы прядут в неразгаданных кликах забвенья,
и явь, как наживка, стихает в стенаниях рабе.

Что гонит тебя из фейсбука в чернильную заводь,
на что тебе рыба, когда наступает затмение –
то сумрак вскрывает над Лаврой кровавые жабры
и топит ее очертанья в молитве вечерней.

Площадь

Снег проходит сквозь дым и ложится на пепел
сквозь блокаду сознания, сквозь жар.
Это пропасть людская – там сытно, где вертел,
и кружит героизма угар.

Извивается темень, ворочая блики
в беспокойно бубнящем котле –
это плавится совесть, экранные клики
хороня в ядовитой золе.

Это тысячи судеб в гранитном поддоне,
собирая моление в кулак,
тычут в рыхлое брюхо господского склона,
вознося перевернутый флаг

над корявою виселицей новогодней,
над палатками жгучих надежд.
Разве можно мечте быть светлей и свободней,
чем в сердцах озаренных невежд?

Фантом

*Сотворенное, вовсе не самобытное, время
Куролесит волчком...*

Семен Абрамович

Есть в плавильнях призрачная боль.
После жара, остывая будто,
ложь и право, пагуба и смута
провожают летнюю юдоль.

Перламутровые тополя
на отшибе каменных загонов
биты, как античные колонны,
а за ними минные поля.

Воздух словно грязное стекло.
Оглянуться – полудом в полнеба.
Псы не лают. Гордо и нелепо
человека славой увлекло.

От свободы застрелиться – взвыть.
Бродят Вани, Игори, Андреи,
им плевать, что врали фарисеи –
в братской мгле их некому корить.

Родному дому

Упрямая душа-весталка
огня дыханье затаила.
Моим родителям гадалка,
имен значенья приоткрыла.
И через пять десятилетий,
в клубах разросшегося сада
ищу цыганского ответа,
как исцеляющего яда.

Вокруг пронзительные клены
и ослепительные ели
влекут протяжные уклоны
сквозь голубиные картели.
То там, то здесь играют белки,
они заглядывают в детство:
обиды, праздники, тарелки
передаются по наследству.

Весь в черно-белом ходит папа,
из шахмат биты только пешки,
на счастье нам собачья лапа
и бугаевские усмешки.
На страже Зигфрид и Двенадцать,
в рояле молится смиренье.

Но ни к чему не прикасаться –
все осыпается сиренью.

Во двор – а там, у старой груши
шумят приятели из книжек.
Учусь писать, а больше – слушать,
как шорох листьев светом движет,
как дворник – тихий дядя Яша
метет огромными руками
через пространство это наше
свою кривую с узелками.

Растут с победами сомненья.
В игре рождаются поступки.
Дом в аварийном вдохновенье
спасает взлетами, как шлюпка,
сперва заваливаясь набок,
треща над пропастью бортами,
нечеловеческим нахрапом
вздымает весла над волнами.

Смыкает тьма в дремучей пене
прищур опасливой догадки:
смысл, созревая постепенно –
решается в мгновенной схватке.
Через дорогу – новостройка.
За два квартала – парк и школа.
Хрипит заезженная тройка
в кругах бессонной радиолы.

Сканави теребит решенья
в искусе точного ответа,
дробится целое на звенья,
и нет обратного билета.
Влечет Чюрленис с чертовщиной
во врубелевский знаменатель

приметы, поводы, причины
душегубительных занятий –

так после верного свиданья
выходит к зеркалу невеста,
когда вокруг уже светает,
а в комнатах безумно тесно.

Москва клокочет в грязном снеге
задержанной литературой,
а в Киев рвутся печенег
под причитания бандуры.

Не тот герой, что из протеста
идет в толпе разгоряченной,
где прохиндей, певец и бездарь
слепой надеждой увлеченный
возвышен общим единеньем
в преддверии великой цели...
На страже разума – сомненье
и одинокие качели

в саду, когда за половину
перевалила путь-дорога –
аллей и тропок паутина
не спутают уже итога.
Страна, в стране, страной, на страны –
склоняя память до затмения
глухие родовые раны
кровят сквозь вязи поколений.

Отечество мое в прошедшем
никак не может устояться –
ему раздваиваться между,
а тем и этим оставаться.
Его изогнутые сосны
хранят тревожные преданья,

но откровения несносны,
невыносимы оправданья.

Огонь как будто бы притушен.
Зима пятнадцатого года.
Все чаще приступы удушья
и колебания погоды.

Дмитрий Бураго родился в Киеве в семье известного литературоведа и издателя С. Б. Бураго. Окончил филологический факультет Киевского педагогического института. Занимался преподавательской деятельностью.

Публиковался в журналах «Континент», «День поэзии», «Радуга», «Многоточие», «Самватас», «Collegium», «Соты», «Юрьев день», «София», «Футурум Арт», «Альманахе Поэзия», в «Антологии русского верлибра», антологии «Русские поэты Украины», антологии стихов о войне «Время Ч», поэтической антологии «Киев XX век» и др. Автор нескольких поэтических книг.

Является организатором ежегодной международной научной конференции «Язык и культура» им. проф. С. Б. Бураго. Издатель современной научной и художественной литературы. Член Национального союза писателей Украины. Лауреат литературной премии имени Леонида Вышеславского (2007), Международной премии им. Арсения и Андрея Тарковских (2011).

Виктор НОРД

ДВЕ НОВЕЛЛЫ

В оригинале обе новеллы были написаны киносценаристом Виктором Нордом по-английски по предложению его агента Уоррена Уилсона. Уилсон готовил материал для серии журнала «Атлантик» (Atlantic), посвященной женщинам и их роли и судьбе в мировых войнах. (Права на экранизацию обеих новелл тогда же были приобретены канадской кинокомпанией «Вал-рас»/Торонто.)

Узнав об этом, темой женщины в войне заинтересовался и знаменитый российский режиссер и актер Ролан Быков, с которым Виктора связывала многолетняя дружба. Быков работал до самой своей безвременной кончины над видео проектом, посвященным участию и роли СССР во Второй мировой войне. По просьбе Быкова Виктор самолично перевел одну из своих новелл на русский язык – и это оказалось для автора неожиданно трудной задачей. Несмотря на все трудности, закончив перевод, Виктор настолько увлекся возможностью писать по-русски, что на основе этих двух новелл решил развить их сюжетную линию, сделав ее достаточной для романа на русском языке.

В 2014 году в Москве вышла книга под названием «Непредвиденные последствия», написанная Виктором Нордом по-русски. Обе эти новеллы, переведенные автором, частично вошли в ткань сюжета нового «телеромана» – так автор определил жанр своего произведения. Обе новеллы отредактированы и заново переведены автором специально для публикации в нашем журнале. Полностью по-русски они публикуются впервые.

«Бог Станиславский»

...Ее сняли с поезда у самой границы, на станции Чоп.

Было раннее утро, под вагонами гремело железо: подвижному составу меняли колеса для перехода на узкую европейскую колею. Она попросила дать ей несколько минут, чтобы наскоро привести себя в порядок, и пограничник деликатно отвернулся, пока она одевалась.

Заспанные офицерские жены равнодушно следили из вагонов, как потом она шла по перрону, волоча за собой фибровый чемодан, а чуть позади с наигранным безразличием вышагивал станционный милиционер в черной папахе с малиновым верхом, с дурацкой саблей на боку, гремевшей по доскам платформы.

Ей вдруг стало неловко, что вот так, под охраной, ее сопровождают в комендатуру, все смотрят и могут подумать черт знает что. Хорошо хоть орденскую планку догадалась нацепить, подумала она.

И не зря: уже у самого выхода с перрона она услышала за спиной певучие женские голоса, заставившие ее замедлить шаг и обернуться.

– *Контрабандитку* ведут, ишь яка фифа, – ничуть не смутившись ее взглядом, протянула торговка подсолнухами, – при наградах, чемодан-пульман. Их, *контрабандитов* здесь – знай лови.

– Шпигунка мабуть, – хмыкнула ее подруга и щелкнула семечкой, – пиджак заграничный и в *бигудях*. Уже там ей зробят прыческу... шестимесячную.

Но с ней ничего не сделали в комендатуре, только провели по темному коридору в кабинет дежурного. Там ожидал ее, к радостному удивлению, старый знакомый майор Ленька Двигубский, бывший замнач театра, в составе которого она прошла всю войну.

Она знала, что Двигубского с окончанием войны назначили директором нового Фронтowego театра в оккупированной Австрии, и к нему она ехала по назначению, только теперь уже не рядовой-военнообязанной, а вольнонаемной служащей.

На секунду она подумала, что это специально для встречи с ней выехал к границе сам Ленька, директор; даже пришло в голову, что

ее могут теперь перевести из грязного общего вагона в мягкий, а то и в спальный-международный, никогда прежде не езженный ею.

Отчего ж нет, мелькнула самодовольная мысль, как-никак она приглашена на ведущие роли. И в Действующей армии четыре года – не шутка, награды за Ростов, за Сталинград, – отчего же нет?...

И, щеголяя своим фронтовым грубоватым кокетством, она похлопала Двигубского по его изуродованной ладони, лежавшей на столе:

– Что ж, вместе как прежде, майор? Поработать – стариной тряхнуть, так что ли?

Ленька закашлялся:

– Ну, работа – она, ясное дело... кто не работает, тот, как говорится, и аттестат не имеет...

Только теперь она заметила его новые погоны и прервала чуть изменившимся тоном:

– Однако, причитается с вас, *подполковник*. Буфет в поезде вроде круглые сутки открыт?

– Да, Аня, да, – заторопился Ленька, – непременно выпьем, отпразднуем, вспомним – но не здесь же, в этих руинах, не сейчас. – Он еще раз закашлялся, потянулся за папиросами.

– Понимаешь – я знаю, что ты поймешь,... тут какая история вышла... малость поспешили с твоим назначением ...

И пока Ленька мучительно долго закуривал свой «Норд», она сопоставила в уме события последней недели, и многое стало проясняться, как божий день.

В сорок четвертом Ленька попал в окружение вместе с ее мужем Нильсеном, но Леньку – только его одного из всей отставшей группы не тягали потом к себе особисты.

Один плюс один...

Он объяснял это тем, что сразу же составил подробный рапорт в ГлавПур, как и полагалось по службе, и даже показал копию ее мужу как главному режиссеру, чтобы *ознакомиться и завизировать* – но именно после этого мужа ее убрали из театра в Действующей армии и вместе с другими вышедшими из окружения отослали в Читгу на Забайкальский фронт, *вплоть до выяснения*.

Там они все и отпраздновали Победу – все, кроме двух бедолаг,

раненных в окружении; эти умерли прямо в госпитале от пеллагры на почве недоедания.

А вот Ленька тогда бесследно исчез. Говорил, что направляют его на север.

Один плюс два...

Из всей группы он один решил в окружении бросить личное оружие – трехлинейку, которую, по своему чудовищному астигматизму, все равно не мог бы пустить в дело. Расстрельная статья, без разговоров.

Ленька, бывший беспризорник, воспитанник детской колонии НКВД, явился на призыв в золотых очках, какие в Одессе носили разве что только воры – зубные техники. И винтовку, как и многие в театре, он упорно продолжал звать *ружьем*.

Два плюс два. Леньке надо было спасти свою жизнь, спасти любым способом, а муж ее Нильсен – все это знали – отказался подтвердить Ленькин рапорт. Донесение это обвиняло восемь человек личного состава в неподчинении приказу.

Старший по группе, замнач театра майор Двигубский приказал закопать (схоронить, как писал Ленька) все документы, переодеться в штатскую одежду из костюмерной – и бросить, приведя предварительно в негодность, личное оружие. А потом рассыпаться и поодиночке пробираться к своим. Зимой это означало сдачу в плен либо верную смерть.

Приказ этот Ленька отдал в припадке отчаяния; у театральной полуторки заглох мотор, им пришлось ночевать в снегу без огня, в одном лесу с немцами – и его никто тогда не послушал. Вместо этого приунывшему старшему по группе отмерили пятьдесят грамм спирту из аптечки и растерли оставшимися каплями побелевшие негнущиеся пальцы на правой руке.

*Но вот отдать ему сухую рукавицу или тащить за него винтовку, четыре с лишним кило, просто не было ну никакой возможности. С ними было двое раненых, к счастью, оба **на ходу**, но один потерял много крови, загибался, и все сухое отдавали ему. «Все одно – пропали, даже если уцелеем – кто нам теперь поверит?» – Двигубский всхлипывал и матерился: «Хорошо тебе, комиссару херову, при тебе наган – и все, а мне – тащи эту дуру...»*

Она вспомнила, как чуть ли не извиняющимся тоном Нильсен рассказывал ей эту историю всю ночь, единственную оставшуюся им ночь в Чите перед ее отъездом в Австрию, – как он говорил, сбиваясь, повторяя одно и то же, и все никак не мог остановиться и успокоиться.

Дважды два – четыре. Одним росчерком пера муж ее мог послать восемь актеров под трибунал за неподчинение военному приказу – или, наоборот, отправить Леньку на тот свет за нарушение присяги: попытку бросить оружие и сдаться в плен. Но Нильсен, этот вечный интеллигент, конечно же, не сделал ни того, ни другого. И никогда бы не смог.

Она не то чтобы осуждала мужа за это – что ж она, зверь какой-нибудь, чтобы губить невинных? – но просто ей казалось, что можно было бы как-то избежать такой ситуации. Вовсе не обязательно вечно оказываться меж двух огней, разумные люди в неразумные истории не попадают.

А с мужем ее – всегда так: вечно у него дважды два – пять...

Ленька вон, хоть и пьяница, но пил всегда только с нужными людьми из штаба. И теперь он подполковник, директор театра, от его благоволения зависит ее судьба. А муж ее, Михаил Нильсен, своими руками фронтовой театр создавший, снят с должности и сидит в Чите *вплоть до окончания* разбора дела.

Дела... Особисты, конечно же, сейчас во всю роятся в его бумагах. Скоро выяснится, что работа его когда-то понравилась кому-нибудь, ныне опальному начальству – такие вещи всегда *обнаруживаются* – и тогда...

Теперь ей уже не казалось случайностью, что в Особом отделе вдруг попросили ее *припомнить*, не получала ли она розы от какого-то там *коммодора* Харшау, морского атташе – будто она помнила всех, кто посылал ей за кулисы цветы ...

И не случайно ее перестали вызывать на радио для чтения стихов *живьем* в микрофон, а только записывали заранее на новую немецкую пленку, что все время рвалась...

– Ленька, – она вытащила папиросу из смятой пачки на столе и раскурила ее, по старой, давно не нужной привычке грея пальцы, – скажи правду, Ленька – у Нильсена плохи дела?

– Ну при чем тут он?.. – Ленька выдержал долгую *качаловскую*

паузу. – Постарайся понять, Аня, личное тут ни при чем. Прежде всего – интересы страны, ты же читаешь газеты, – он наклонился к ней и важно понизил голос.

– Ты свой человек, Аня, и тебе я могу... только между нами: ситуация непростая. На нас клеветают враги, пускают слухи, что вся Европа будет теперь в кармане у евреев, под видом большевиков. Что все победы – это дела мирового сионистического заговора – в общем, сеют панику и клевету. Поэтому, чтобы зря не будоражить население, приходится... ну, считается целесообразным, ограничивать... в общем, постепенно менять... э, национальную структуру нашего контингента за границей, понимаешь?

– Структу-уру? Кон-тин-гента? – ее обычно темно-синие глаза стали зеленоватыми. Ох, не любила она эти тыловые разговоры о национальностях, о предателях-эстонцах, о немцах-нелюдях, о еврейском фронте в Ташкенте.

В такие секунды от нее лучше было держаться подальше, она становилась бешеной истеричкой, срывала с гимнастерки награды и швыряла их оземь; об этом знала вся труппа, или, как их потом называли, бригада. У нее даже прозвище было за это: Анька-выбух, Анька-взрыв.

Ленька тоже об этом помнил и на всякий случай откинулся подальше назад, на спинку своего стула.

– Контингента, значит, – повторила она тихо, – и это что ж, приказ ГлавПура такой?.. – Она глянула на заробевшего Леньку, вздохнула и подавила приступ гнева. Ленька здесь был ни при чем, он пел явно с чужого голоса. Пешка.

– Что ж, приказ – значит надо подчиняться, не впервой ведь?

– Нет, Аня, такого приказа нет, – медленно сказал он. – Есть мнение, есть общая политика. Нам пора самим понимать, где и в какое время живем, не дожидаясь приказов. Ты ведь никогда не была в моей шкуре – ваше дело играть, выходить на аплодисменты. Ведь если приходит приказ – значит поздно уже принимать меры. Надо делать оргвыводы, выявлять, виновных наказывать, устанавливать их связи – и никому от этого хорошо не бывает.

Она погасила о край пепельницы обслюнявленный, измазанный морковной помадой окурочек и еще раз вздохнула:

– Ну значит – домой... Когда едешь – ты ведь тоже евреем записан?

– Я – разумеется..., когда надо будет. Но я пока остаюсь, Аня. Пока что это касается только актерского состава. Ну и – сама понимаешь, литчасти, критиканов этих, юзовских-борщевских. Там же вообще ни одной русской фамилии не осталось, среди этих героев... литературного фронта.

На этом она перестала слушать, хотя Ленька продолжал говорить своим бархатным, грустно-значительным тоном...

*Борщевский Шура, Шурочка, их завлит, прошел с нею всю войну; под Сталинградом он вытащил ее обмороженную из окопа – сама она уже не могла выбраться, – и обливаясь потом от страха, протащил ее на себе метров сто под ружейно-пулеметным, догнал-таки хвост колонны, и поэтому оба они не попали в окружение. Сам Шурочка, если б не она, нипочем и носа бы не высунул из укрытия, такой был плотный огонь. Но оба уцелели! За это всю войну он потом называл ее на французский манер – **маскот**. Он был очень образованным человеком, Шурочка, настоящим знатоком театра. Последнее, что она слышала, это что его сильно разругали в газетах, уволили за критику патриотических пьес, и он уехал куда-то подальше от беды писать книгу, кажется, на Камчатку...*

Главное было – не заплакать сейчас при Леньке в этой прокуренной дежурке, не доставить ему такое удовольствие. Чтобы этого не произошло, она прибегла к испытанному приему: вспомнила, как стоя в кузове студебеккера со спущенными бортами, она пела для целого батальона новобранцев последнего призыва.

Где-то баловались из миномета: мяу-мяу – хлоп-хлоп, не разобрат, наши или нет – не так далеко, но и не слишком близко, не настолько, чтобы прерывать выступление. Зрители, однако, поживались, сидя на мокрой траве; они были необстрелянными, и их бросали в прорыв сразу же после концерта.

По их просьбе она пела свою знаменитую «Я на подвиг тебя провожала...», песенку Дженни из «Острова пиратов». И когда доходило до слов «я тебя провожала, но слезы сдержала, и были сухими глаза», в этом месте ее глаза должны были слегка увлажниться: так учили их курс по методу Станиславского – в черном ищи белое, в скорби – смейся, поешь о сухих глазах – прослезись... Словом, ей

надо было захотеть плакать, но от холода и постоянного мяуканья мин все, что ей хотелось – это в уборную. И главной ее задачей в ту минуту стало удержаться и не обмочиться прямо на подмостках, а вовсе не прослезиться.

Мысль об этом так рассмешила ее, что уже без всяких слез, она быстро, чуть ли не весело допела:

*Там, где кони по трупам шагают,
где всю землю окрасила кровь,
пусть тебе помогает –
от пуль сберегает
моя молодая любовь.*

*За дело святое
готова с тобою
идти, не боясь ничего!
Если ранили друга
перевяжет подруга
горящие раны его.*

И тогда вдруг, по внезапной мертвой паузе между последними аккордами и хлопками одобрения, когда казалось, даже окаянный миномет на секунду заткнулся и наступила звенящая тишина, она поняла, что ее публика, эти наскоро обученные и остриженные наголо дети призыва двадцать четвертого, а то и двадцать пятого года теперь будут точно знать, за что им пойти стрелять и умирать: не просто за-родину-за-сталина, но главное – чтобы защитит ЕЁ, именно её, взъерошенную ледяным ветром коротышку с синими глазами и цыганскими завитками волос, похожую не то на грача, не то на воробья.

Как бы ни бывало холодно, она никогда не выступала в ватнике, но только в концертном платье и на высоких каблуках; и свой вязаный шарф непременно снимала с шеи перед выходом на сцену, даже в феврале. Она упрямо верила, что этим мальчишкам будет легче лежать под огнем, вспоминая ее на подмостках, а вместе с ней и всех оставленных дома женщин, – сестер, матерей –

и именно так, в голубых летящих по ветру платьях, с открытыми плечами.

И когда между номерами ее таких восхитительно благодарных, доверчивых зрителей смерть выкликала своим простуженным голосом: «Группа Шевелева – на выход! Маршевая связистов – на выход!» – она твердо верила, что никто из них и подозревать не должен – ни о вечном ее страхе остаться калекой и потерять профессию, ни об отмороженных под Ростовом ступнях, ни, тем более, о застуженном в Сталинграде мочевом пузыре.

Иначе, думала она, все к черту, все страдания ее тогда теряли смысл; для этих солдат с наивными и испуганными лицами она не должна была оказаться простой смертной, не имела права. Верные члены КИМ, комсомольцы, воспитанные в духе непримиримого безбожия, – живыми им суждено было вернуться из боя, или мертвыми, – сейчас они навсегда уходили в другой мир, *в прорыв*, и она одна служила им последним провожатым: благословением, прощением и вечной любовью.

И – видит Бог, у нее получалось! Ей щедро аплодировали; кумир ее Станиславский был явно милостив к ней там, на небе – видно, он и оберегал ее всю войну; бывало ведь и по пять недель на переднем крае без отдыха, под обстрелами и налетами – и вот, ни одной царапины. Всех-то увечий: обожженное спросонок у костра бедро, да отмороженные ноги, черт бы их драл...

Она взяла себя в руки и не заплакала, по привычке молча поблагодарив за это своего бога – Станиславского.

Двигубский все еще говорил. Теперь он нес какую-то ересь о трофейном фарфоровом сервизе, почему-то *полагавшемся* ей:

– ...настоящий Сакс, голубые мечи, от комфронта Рокоссовского лично, он для жены берет. Увидишь – ахнешь. Велел передать – чтоб не обижалась, не совсем ловко, конечно, с тобой получилось...

– Ленька, – перебила она, – мы ведь вместе войну прошли, не будь свиньей, скажи правду, Ленька – Нильсен? В нем дело?

Двигубский замолчал и стал тщательно, бездарно переигрывать, важно протирать свои очки. Она улыбнулась ему – очень, очень естественно.

– Помнишь, в станице Клетской был налет, Ленька, перебило

полсостава, а Нильсен приказал заклеить очки крест-накрест – тебе и всем близоруким, мы еще умирали-смеялись тогда всю бомбежку, не могли остановиться?.. Ну прошу тебя... Что с ним, Ленька, что с Нильсеном будет?

Зазвонил телефон, но Ленька не спешил брать трубку. Она, глядя прямо ему в глаза, провела пальцем под подбородком и беззвучно, одними губами спросила: – Да?

Он покачал головой и потянулся к телефону, но по дороге, как бы невзначай, перекрестил пальцы обеих рук и показал решетку.

Мизинца и безымянного на левой его руке как не бывало.

«Крестики-нолики показывает, – подумала она, – дважды два...» – и встала со стула.

Ленька громко, жестко сказал в телефон: «Нет!» – и повесил трубку.

– К тебе у нас никаких претензий не имеется, – тихим, но уже официальным голосом обратился он к ней. – Военнообязанной ты больше не являешься. Твои документы отправлены в Управление кадров. Работы хватит, без дела не останешься.

«У нас!» – подумала она и усмехнулась. – «У вас...» Вслух же спросила:

– А отсюда – куда же вы меня теперь?

– Что значит – вы? – рассмеялся Ленька. – Проездные документы, литеры, плацкарту получишь в воинской кассе, без очереди. Поедешь в купированном, *цельнометаллическом*, я распорядился...

Он помолчал, и когда она, сгорбившись, волоча за собой ненужный щегольский чемодан, уже уходила, прибавил:

– Постарайся понять, Аня... ты еще скажешь мне спасибо. Могло быть хуже, гораздо хуже. Симонов, Корнейчук хлопотали, звонили мне, просили помочь. Мне удалось выделить его дело в отдельное производство: недонесение, потеря бдительности, вызывающее поведение на проверке – пустяки, я спас ему жизнь. Это все, что можно было сделать. Как-нибудь, если свидимся – поблагодаришь, ...я уверен. Да...– И закончил неожиданно: – А сервиз от комфронта уже доставлен тебе в вагон, настоящий дрезденский, голубые мечи, цены ему нет – сказка!

Так на мажорной ноте закончилась, не успев и начаться, та ее, другая, нужная людям великолепная жизнь. Жизнь, о которой она мечтала с юности, а потом еще – всю войну: вот покончим с фашистами – и тогда уж...

Жизнь, вычитанная ею из множества книжек и требовавшая от нее всегда быть готовой *жертвовать* – любовью, семьей, если надо и жизнью, своей или чужой, – и все во имя чудесного будущего, так заманчиво описанного в книгах. Все лишения и невзгоды военного времени не казались ей поэтому реальными: они были лишь прелюдией к наполненному глубоким смыслом истинному существованию, ее личной истории с заслуженно счастливым концом...

Ленька Двигубский. Бабник, лентяй, влюбленный в себя пьянчуга с томными близорукими глазами.

Ленька, и майора-то получивший за то, что возил статисток на пьянки в штаб, выдавая их там за настоящих актрис... Ему теперь звонили, хлопотали... Ленька Двигубский *распорядился*, чтоб ей дали место в купейном вагоне, а сам улетел на *спец-Дугласе* в Вену на премьеру новой пьесы «Сталинградцы» – сам Рокоссовский, комфронта, будет смотреть! Лихо...

А ей там играть – сочли *нецелесообразным*. Не нашлось там для нее роли.

В настоящих сталинградских окопах – нашлась роль, а на сцене, среди крашенных холстов и фанеры – нет.

А на черта они ей сдались, настоящие? Чем они ей в жизни помогли? Медалями-орденами? Да она с детства никем не хотела быть, только актрисой, Станиславскому молилась перед спектаклем; она думала о сцене, об идущем вверх занавесе, о своей милой кашляющей и сморкающейся публике – но уж никак не о грубостях, вон и смертном холоде настоящей войны.

Не отчаиваться, думала она по дороге домой, – руки-ноги целы, остались при мне. Дело с документами – в Управлении кадров. Разумеется – никакой работы не будет, она ж не вчера родилась: какая там к черту работа. Кто выпустит *на публику* жену осужденного преступника? Еще чего-нибудь ляпнет на сцене от отчаяния: она и сама такое нипочем не допустила бы.

Значит – надо раздобыть белокурый парик с косами, начать румяниться, подчеркивать синеву глаз, взять псевдоним. Вместо

Штерн статья – ну скажем, *Лебедевой*, записаться на новогодние елки-халтуры, скажем, Снегурочкой. Она и так-то не старая, а выглядит еще и лет на пять моложе... Ну, притвориться надо – так она же профессионал.

Если разрешат, можно еще от Мосэстрады ездить по сельским клубам, найти аккомпаниатора-баяниста, колхозникам стихи читать патриотические.

Только вот надо будет в военкомате награды поскорей на новое имя переоформить, прежде всего, все ордена и за Сталинград и Ростов медали: Лебедева Анна Александровна, 22-го года рождения, доброволец, четыре года в Действующей армии, разве плохо?

Ну что делать, ну да, вот разбили Гитлера, а сейчас вот борются с нерусскими именами: папиросы «Норд» – и те в «Север» переименовывают, чем же она должна быть лучше других?

«Не-ет, прав Ленька, – думала она, глядя на пролетавшие за окном обгорелые вокзалы, остовы водокачек, тоскливые надписи *Кипяток*. Прав Ленька, пора понимать, где и в какое время живешь».

Даже если не шибко хочется верить, что такое время действительно наступило...

«Не так – так этак, не этак – так так» – поддакивали колеса.

Начиналась новая жизнь, и наверное, одному Станиславскому там наверху было ведомо, какие еще жертвы предстояло ей принести.

Под крылушком

День начинается очень плохо. Никуда не годно начинается день. Пока мать уходит на пять минут за сигаретами, он пытается открыть окно, что уже считается преступлением, но беда не в этом. Беда в том, что на подоконнике в это время находится фарфоровая сахарница и она неожиданно летит на пол и вдребезги разбивается ее крышка. Сахарница – это часть сервиза прошлого века, вывезена из Германии в качестве трофея, таких больше нет в Москве. Ему это сто раз русским языком говорили.

На прошлой неделе он уже разбил чашку от того же сервиза. При гостях. Гостем был Семен, друг матери, полковник связи, у ко-

торого был пистолет ТэТэ. С ним были еще веселые военные друзья – они предлагали попробовать водки, но мать сказала: «Вы что, с ума сошли?» – и водки пробовать не пришлось, только чокнуться разрешили пустой рюмкой. Пахла рюмка приятно, как в парикмахерской.

Перед сном он пошел на горшок как обычно, но мать, занятая гостями, не спешила в ванную вымыть ему зад, когда он был готов. Со спущенными штанами он явился в комнату, потянулся к столу за бумажной салфеткой и локтем задел чашку. Перед тем как упасть, чашка еще долго балансировала на краю, ее можно было спасти, но Семен, владелец пистолета, сказал: «Ничего, это к счастью», – и чашка полетела вниз, никем не остановленная.

Мать не считала, что посуда бьется к счастью, напротив, ей казалось, что это злой рок уничтожает любимый сервиз из Дрездена, чтобы в конце концов лишит ее и этой, последней радости. За нечувствительность к горю матери владельцу пистолета ТэТэ Семену было предложено убираться восвояси несолоно хлебавши, а сыну был набит так и невымытый зад.

Когда остальные гости разошлись, уже сильно пьяный Семен все еще пытался уговорить мать оставить его ночевать, но та и слушать не пожелала – так расстроилась из-за чашки.

Сын уже давно перестал плакать, а Семен все еще сидел в растегнутом кителе, вздыхая, что вот метро уже не ходит, а шофера он отпустил домой. Он никак не хотел поверить, что с ним откажутся спать из-за какой-то там чашки, но мать ему показала. Видя, что слова не помогают и Семена иначе не выгнать, она выбросила его фуражку в окно.

Владелец ТэТэ тихо выругался: «*а ну вас к едрене фене!*», – и ушел. Номер его и фамилия были выписаны чернильным карандашом внутри *головного убора*, и могли последовать неприятности.

В гулкой тишине ночного двора-колодца было слышно, как он искал фуражку, нашел ее, вышел через подворотню на улицу, и только когда затихли подковки его сапог, мать тихо и зло заплакала. Сын не спал, он притворялся, что спал, и она это знала.

Неудивительно, что теперь, глядя на осколки сахарницы, он сидел на полу

И тягостно думал, как жить дальше. Выбор был невелик. Можно было выломать хлипкую решетку и выброситься из окна – тогда уж они все узнают...

А что там узнают, с другой стороны? Между тем, разбиваться будет ужасно больно. И мать может взять другого ребенка – приемыша из детского дома и мигом забыть родного сына; какой же тогда смысл страдать?...

То, что мать может просто *родить* другого ребенка, ему даже не приходило

в голову. Его самого, как известно, принес домой аист. Сам он этого не помнил, но ему показывали потертую открытку, изображавшую большую птицу с корзинкой в длинном клюве. В корзине лежал он сам, младенец с выпучеными глазами. Под картинкой была надпись «Опасный путь»: аист шагал через ручей по какому-то хлипкому мостику. Это была его самая первая фотография – так ему говорили, и так он думал.

И хотя в свои четыре с половиной года он уже умел читать печатными буквами – и знал о жизни гораздо больше, чем могли представить взрослые, сама мысль о том, что мать еще раз решится на все эти опасные пути, связанные с появлением на свет ребенка, казалась ему нелепой.

Куда проще было взять готового сироту из детского дома. Детский дом, сирота – это было понятно, такое сочетание слов еще можно было услышать повсюду – на улице, по радио: шел тысяча девятьсот сорок девятый год.

Он представил себя лежащим в темноте неподвижно под землей и понял, что выбрасываться из окна – это не выход.

Со стены смотрел на него сквозь пенснэ портрет: черно-белый хохочущий Станиславский – и казалось, что старик смеется над его бедой.

Еще можно было наврать, что сахарница разбилась *сама*. Ну ветер там, или еще какая-нибудь причина. Но наврать было еще хуже, чем разбить.

Почему наврать было так плохо, он и сам толком бы не мог объяснить. Ему, конечно, говорила мать, что врать нельзя, но она ведь много еще чего говорила...

Да, книжки, вот почему! Он читал только книжки для взрос-

лых, назло матери. В книжках для взрослых все было наоборот, чем в книжках для детей.

В книжках с картинками для детей дошкольного возраста все время ввали. Заяц обманывал лису, старуха лгала медведю, чтобы ему же потом отрезать ногу, а Колобок, тот вообще врал направо, чтобы уйти от всех, кто только ни желал его съесть.

В книжках же для взрослых вранью не было места, оно осуждалось. Тайком от матери он читал их две: «Разбойники» Ф.Шиллера и «Бели» А. С. Наседкиной, брошюру из серии *Гигиена женщины*.

В первой книжке герой Карл пошел в разбойники, оттого что на него наврал собственный брат, мерзавец каких мало. И с тех пор он боялся и не желал, чтобы у него был брат. Во второй книжке говорилось прямо: «Аборт опасен», – и глупо было думать, что можно что-нибудь здесь наврать, хотя он и не знал, что именно означает это слово – аборт.

Вот так он и сидел на полу, загнанный в тупик, лишенный какой бы то ни было надежды избежать наказания, и уже третий час терпеливо ожидал своей участи. Он не плакал, хотя знал, что надолго его не хватит.

Она действительно вышла всего на пять минут за сигаретами; так ей казалось, потому что так ей хотелось думать. Ей не хотелось думать, что сигареты у нее были – только мало, всего пять штук, только другого сорта, не те, к которым она привыкла.

На улице было шумно и солнечно, там шла своя жизнь, не зависимая от ее нужд и желаний, каждую секунду происходило какое-нибудь событие: вот шина спустила у «Победы» прямо на перекрестке, милиционер заставил старуху убрать дерьмо за своим терьером. И что бы ни случилось, вокруг участников происшествия мгновенно собиралась толпа. Было одиннадцать утра. Интересно, когда эти люди работают?

Она не служила вот уже пятый год. Вокруг дома, где жили они с сыном, девять театров работали по четырнадцать часов в сутки, человек двести служащих в каждом, и добрая половина из них – актеры. Ее коллеги. Да, она тоже была актрисой, когда-то давно, в другой жизни, четыре, нет, пять лет назад... Каждый год уменьшал ее шансы снова выйти на сцену, но она продолжала пытаться – вопреки всему.

Разумеется, она и не мечтала поступить на работу в эти окружавшие ее дом столичные, известные на весь мир театры; она бывала счастлива, если ее брали сыграть Снегурочку в новогодних халтурах. Жаль, что зимние каникулы нельзя было растянуть на весь год. Сразу бы решилось множество проблем.

Прежде всего, сигареты: их можно было бы закупить про запас и больше об этом не думать. Потом – найти няньку, той можно было бы выделить угол и раскладушку, а они с сыном спали бы на тахте. Потом... Собственно, проблем больше и не было. То есть, больше ей уже ничего не хотелось. Уже давно.

Когда-то, в другой жизни, ей хотелось еще, например, чтоб отец ребенка вышел на свободу по какой-нибудь чудодейственной амнистии, снова стал уважаемым человеком и помог бы ей растить мальчика. Вскоре, в силу наивности такого желания, она перестала об этом грезить. Она ведь давно стала реалистичной и рассудочной; так она любила о себе думать.

После рождения ребенка она купила по случаю круглую деревянную болванку и начала воровать: вязать лыжные шапочки для артели инвалидов и продавать их знакомым *налево* по сорок рублей за штуку. На той же болванке она вшивала и волосы в театральные парики – но это была скучная и очень плохо оплачиваемая работа.

Денег, однако, все равно не хватало, и уже очень давно ее любовник Семен *забыл* утром на подоконнике двести рублей, и потом – уже тоже давно – перестал ее навещать регулярно, начал звонить в последнюю секунду как к себе домой, часто пьяным, когда ему хотелось срочно утолить половую нужду.

У нее было много нужд – знакомые так и говорили: она *нуждается*. Но вот половой нужды у нее не было. Честно говоря, она ненавидела мужчин именно за то, что по отношению к ней у них редко возникали какие-либо чувства, кроме самых грубых. Она завидовала мужчинам, их прямоте, самоуверенности, глупому бахвальству и от этого не любила с ними спать.

Ей хотелось бы выступать – танцевать, например, привлекая к себе всеобщее внимание, высказывать всякие оригинальные и меткие суждения – и чтобы они ею восхищались, дарили цветы и

осознавали ей истинную цену; это, пожалуй, и было все ее желание, наиболее близкое к половому.

Вместо этого по утрам ее мужчин часто мучила головная боль - *убийца*, в комнате нечисто пахло чужой обувью и бельем, а в ванную выходить, даже по малой нужде, было рискованно из-за коммунальных соседей – тут же и донесут, что она *принимает* гостей.

Она беззвучно плакала по утрам, когда подмывалась над ночным горшком оставшимся с вечера нарзаном – плакала наедине со своими мыслями в те бесценные предрассветные минуты, когда мужчина уже ушел, а сын еще не проснулся. Потом обычно она медитировала перед зеркалом минут по десять-пятнадцать, глядя бессмысленно на свое отражение, но всегда при этом проверяя, не появилась ли новая морщина; потом медленно произносила: «Н-да-а, Анна Александровна», обращаясь к себе с укоризной, в третьем лице и по-отчеству. Еще потом – ложилась в постель на живот, зная, что скоро проснется сын и разбудит ее, и *выспать* из памяти прошедшую ночь уже не удастся.

Впрочем, деньги она принимала только от Семена, друга детства. Если взять от кого-нибудь еще, это уже проституция, думала она, а у нее была другая профессия. Она, правда, одалживала у кого только можно было, но всегда возвращала до копейки. И точно в срок.

Иногда она так ненавидела своего ребенка, что сама пугалась силы своих чувств. Надо было бы пойти к специалисту, но одна мысль о том, что тот может учинить ей допрос, обнаружить какие-нибудь отклонения, а потом направить на принудительное лечение, вызывала в ней ужас. До сих пор при слове *допрос* ее тошнило от страха.

Она завидовала своей портнихе, старой религиозной женщине: та раз в неделю ходила в церковь исповедоваться. А куда, в какую церковь пойти было ей, члену Коммунистического Интернационала Молодежи с 1935 года, еврейке и атеистке? Кому рассказать о своих грехах, кого попросить о прощении?

После приступов ненависти к сыну, она обычно страдала от невралгии в верхней десне справа, но куда больше – от стыда и отчаяния, что было похуже зубной боли. Тогда на последние деньги она накупала еды – на базаре у частников, самой лучшей, самой дорогой

– и заставляла его есть. Мальчик плакал и не давался в руки, отворачивался, отплевывался. Иногда его тошнило от переедания – рвало икрой и апельсинами прямо на пол. (Господи, в городе приличный кусок мяса было не достать, а за кислыми яблоками – очередь в полквартала!)

Она била мальчика по щекам, заставляя проглатывать ненавистную еду; ей было жаль его, но она ничего, абсолютно ничего не могла с собой поделать!

Часто по вечерам она целовала его маленькое тело, целовала бледное личико с сиреневыми тенями под глазами и повторяла про себя, как индийскую мантру: «Прости, прости, прости-прости-прости-прости.»

Сын не любил поцелуев, он вытирал обмусоленные щеки, и пользуясь случаем, просил лучше спеть ему *грустную песню* – так он называл колыбельную. Отчего детские песни выходили у нее грустными, она и сама не знала – обычные колыбельные баю-бай... Слушая их, мальчик не по-детски вздыхал, а потом засыпал с озабоченным лицом.

Она любила подолгу смотреть на него спящего и молча разговаривать с ним, просила не печалиться и не судить ее строго. «Пойми, – говорила она, беззвучно шевеля губами, – я ведь не желала ничего плохого. Все это, дурное, случается само по себе, пойми, бывает, что людям не везет, мне и твоему отцу – больше, чем другим...»

Так ей хотелось думать и часто так ей действительно казалось.

Не везет... Господи, как она ненавидела неудачников. Где-то она вычитала, что Наполеон никогда не брал на службу невезучих генералов, – вот же великий был человек! Как ей это было понятно. Она и сама разлюбила отца мальчика – или так ей казалось – за его вечное невезение, за то что не мог ей сейчас помочь растить сына; за то что не был *хватким*, не умел *ориентироваться* в жизни. Этого она больше всего не могла простить мужу – и судьба отомстила ей жестоко. Теперь она должна его ждать и отправлять ему дважды в год продуктовые посылки.

Ее муж – Боже, он всегда был последним, когда где-то можно было что-нибудь достать или получить, зато вечно высовывал свою шею, когда все нормальные люди старались быть понезаметнее... Уже отсидев до войны два года, вечный *попутчик*, беспартийный,

он вдруг ни с того, ни с сего решил вступить в ВКП(б) в октябре сроком первого, когда все нормальные люди закапывали партбилеты, а по Москве жгли архивы, вот-вот ожидая прихода немцев.

И конечно же, он попал в окружение. С его счастьем, думала она, не мог не попасть...

Она верила, что неудачники заражают и других своим невезением. Вот она бы, например, могла получать комиссарскую пенсию – если б муж ее нормально погиб, пал смертью храбрых, защищая Родину, как писалось тогда в похоронках. Или – он мог бы пропасть без вести, тогда по прошествии времени она бы аннулировала брак, вышла замуж вторично – желающих было полно, и смогла бы устроить свою судьбу.

Но, упрямый человек, он вышел из окружения через две недели, вывел еще восемь человек, восемь скелетов, обтянутых обмороженной кожей – и первым делом, конечно же, угодил к особистам. У него сдали нервы, разумеется, в самый ненужный момент; на выяснении обстоятельств он обозвал контрразведчика тыловой крысой и отказался подписать донесение. Лучше б уж просто было перебежать к немцам – тогда она, на худой конец, могла бы официально отречься от него как предателя...

А теперь вот она Че Эс, член семьи политзаключенного – хуже ничего быть не может. И в любую минуту ее саму могут выслать в какой-нибудь Джебказган. И мальчик поедет с ней, куда же еще ему деваться? А чем его там кормить? Да, да, теперь уже ничего не поделаешь, есть мальчик – результат глупого ребяческого каприза, невезения, нежелания называть вещи своими именами, этой дурацкой русской привычки никогда не ставить точки над «і».

Ее мужу дали свидание, первое за год, – на одни сутки. Симпатичнейший инвалид-замначлага, сам фронтовик, разрешил им переночевать в лыжном сарае – и даже выписал дров, чтобы натопить «буржуйку». Там в морозной, пропахшей лыжным дегтем Унже все как-то виделось по-другому. Муж ее неожиданно ловко прятал под лагерной рванью свитер, связанный ею из ворованной шерсти. И в лагере он почему-то не смотрелся таким уж неудачником. Даже старый бушлат сидел на нем элегантно; ему строили глазки вольные девки-телефонистки. И она решила не выяснять отношения,

как собиралась раньше. А вместо этого на другой день уехала назад в Москву, увозя с собой подарки – пару ненужных лыж Телемаркс клеймом «УнжЛаг», сто рублей, заработанных ударным трудом в паровозном депо, и – ребенка в утробе.

Не везет! – часто думалось ей... Но в глубине души она знала, что это было не совсем так; в заключении находится половина знакомых, а то и две трети; у отца мальчика есть право переписки, раз в месяц он посылает сыну смешные рисунки, так что жаловаться особенно не приходится, другие дети вообще отцов не знают, а некоторые – и матерей тоже, живут сиротами в детдомах...

И конечно же она помнила, что ей сильно повезло; что ее пожалел хирург под Ростовом – пожалел, **оставил** обе ступни и отправил в тыл на лечение, а другим ведь, менее везучим, в спешке наступления отхватывали обмороженные конечности, не спрашивая и не рассуждая.

Она хорошо помнила и Юльку, свою подружку, **прошитую** в метре от укрытия случайной очередью, когда та тащила на себе горячий суп в промерзшую траншею.

Она знала, что ей, собственно, очень везло тогда: она ведь была женой добровольца-фронтовика, и к ней не смело лезть под юбку штабное начальство, в то время как другие актрисы, незамужние девочки, собственно, ...собственно, нет!

Она не хотела об этом думать, не желала думать о других невезучих.

Ей хотелось жалеть себя, только себя и свою судьбу и судить о ней с точки зрения нормальной двадцатишестилетней женщины, существа из иной, лишь случайно не доставшейся ей жизни. Жизни, где давно уже не было ни бомбежек, лишаящих рассудка, ни обмороженных в окопах ступней, где давно уже никто не употреблял слово **паек**.

Такой новой, ощутимо нормальной жизнью, вот уже несколько лет жила улица: работали коммерческие магазины, катились троллейбусы, понемногу исчезали разрушенные дома – и исчезали с тротуаров разрушенные люди, эти вечно пьяные калеки с медалями. Они напоминали прохожим, что тем, собственно, еще повезло.

Говорили, что по особому указу инвалидов убирали с улиц вме-

сте с их гадкими деревянными тележками и направляли в специальные лагеря на какие-то острова.

И правильно, давно пора, думала она без всякой жалости, нечего здесь в столице попрошайничать. Калек с медалями напомнили ей, что и она, несмотря на все награды, сама осталась не у дел после войны.

На перекрестке пахло шоколадом; автомобильные гудки оглушали ее. Крашеная блондинка со злым лицом все еще пыталась развернуть свою «Победу», перегородив улицу. Левая передняя шина плоско хлопала по асфальту. Подскочил милиционер, отдал честь и стал помогать ставить запасное колесо: очевидно, блондинка была *ответственной* личностью, может быть, даже женой какого-нибудь генерала. Она усмехнулась, вспомнив, что на войне такого типа фронтовых блондинок шоферня называла *легковушками* и *запасками*.

Шоколадом и кофе пахло из кондитерской, и ей до сих пор казалось странным, что туда можно было вот так, запросто зайти и что-нибудь купить, а не *отовариться* по предъявлении литерного аттестата. Впрочем, кофе она покупала редко, не любила, а шоколад – никогда: дорого, а витаминов, говорят, – ноль.

На улице было хорошо, шумно, и чем дольше она бродила одна, дыша отравленным бензиновым воздухом, тем меньше ей хотелось домой. Она боялась своей полутемной комнаты, боялась тишины, грустного заплаканного лица своего мальчика, боялась его вопроса: «Где же ты ходишь-бродишь?»

Господи, если бы не ребенок, ей тоже можно было бы катить в открытой «Побед»е, огорчаться только из-за спущенного колеса, закрутить роман с каким-нибудь там ответственным работником, а тому – стоило бы лишь поднять трубку, и у нее появилось бы все: работа, публика – жизнь...

Она гнала от себя мысли, что от судьбы никуда ей не деться, что не в ребенке дело, а в ней самой, не способной принять решение. Никогда, никогда, не решилась бы она бросить своего мужа, любимого или нет. Так *не делают*. Нельзя. Почему? – откуда ей было знать, почему – может, оттого, что и так уж он был в беде, хуже некуда.

Наступал вечер, сигареты были давно куплены. Она боялась идти домой, но мальчик не ел с утра – идти было надо.

Господи, как она мечтала найти в себе силы его любить... Входя в подъезд и вдыхая привычный запах кошачьей мочи, она подумала, что честнее и проще было бы убить сына, а потом покончить с собой – но знала, что и на это тоже не хватит сил.

Она вошла в комнату и сразу почувствовала неладное: было слишком тихо. Быстро, привычно проверила решетки на окне – целы ли, потом ящик с лекарствами – заперт. Значит он жив-невредим, прячется где-то в комнате: уже облегчение. А главное – нет этих слез, и этого: «Где ты всеходишь-бродишь?»

Она нащупала выключатель за шкафом, зажгла свет и, уже с меньшим чувством вины, позвала его: «Вылезай!»

Он засопел под кроватью и вздохнул; мать поняла, что сейчас он, как всегда, будет плакать, и ей снова стало нехорошо.

– Вылезай, – повторила она.

– Убей меня, – глухо раздалось из-под кровати, – лучше убей.

– Вылезай, сегодня не будет супа. Ешь свои сосиски, – сказала она уже с раздражением.

В ответ он неожиданно выскочил из-под кровати, пыльный, растрепанный – и с жалобным воем повис на ее руке.

– Ну что теперь еще? – устало спросила она, пытаясь освободить руку. Настроение пошло вниз, резко, ниже некуда.

– Вот я уже дома, я купила сигареты. Ты прекрати меня изводить, не то запру в ванную, пока не утомнишься.

Но он не слышал ее, он требовал, чтобы она *его* слушала!

– Нет, нет, я... ты... я буду есть все, что захочешь, я – кашу манную буду есть, яйца! И я больше плакать не буду, слышишь? Нет, ты послушай, я больше никогда не *вырву*, чтобы ты не кричала, ты слушай...

Он стал икать. У него явно начиналась истерика, и надо было срочно давать ему бром. Так ей казалось, и как всегда, она ошибалась.

На самом деле, с его стороны это был хитро обдуманый план, целая стратегия. Когда мать без особой надежды поднесла ему ложку омерзительного лекарства, он был вполне к этому готов и не выплюнул его на пол. Плакал он лишь затем, чтобы через несколько минут она подумала, что лекарство помогает, и потому – обрадовалась.

Он хорошо ее знал. Когда он притворился, что бром подействовал и успокоился, мать, как и ожидалось, положила ему на голову ладонь и поцеловала. Момент приближался, его нельзя было упустить. Он напряженно ждал, пока она устало опустится на табурет от проданного пианино, вздохнет, и глядя в зеркало, скажет своему отражению: «Нда-а-а, Анна Алексанна...»

– Нда-а-а, Анна Алексанна..., – сказала она, опускаясь на табурет и глядя в зеркало. И тут же почувствовала, как в колено уткнулся теплый мокрый нос ее сына.

– Осторожнее, – сказала она не то себе, не то ему.

– Я правда, буду есть что дают, даже может быть... масло! А ты – когда захочешь, тогда и ходи за своими сигаретами, ладно?

Это было что-то новое. Теперь она действительно обратила на сына внимание и попробовала вникнуть в смысл его слов.

– Да, да, приходи домой, когда хочешь, – бормотал он, – я уже большой и не должен бояться быть один. Я ведь потому только плакал, что разбил эту крышку...

– Какую еще крышку?

– От сахарницы. Саксонской,- – он вздохнул. – Ты меня лучше убей...

Но у нее уже не было сил ни смеяться, ни, тем более, сердиться на него.

Ей вдруг ужасно захотелось просто прилечь на кровать, не раздеваясь, включить радио и смотреть в потолок.

Новая жизнь наступала, ее было не остановить. Надо было как-то приспособиваться к ней, к этой новой жизни, и прежде всего надо было заново учиться любить. Нет, не родину, не публику, не свой успех у нее, и даже не Станиславского с его методом, но просто кого-то рядом. Просто кого-нибудь рядом, кто о ней думает и нуждается в ней, и полагается на ее любовь и заботу. Господи, да ведь двое таких были уже у нее – полны руки, только и успевай любить. Ну подумаешь, сахарница разбилась – да и черт бы с ней!

– Дурень, – сказала она, и спрятала под плед свои вечно мерзнувшие ступни, – ну с чего вдруг я должна тебя убивать? И вообще, разве можно говорить такие слова?

– Почему нельзя? Я же не говорю – *жопа*.

Тут она, наконец, расхохоталась – но ему и этого было недостаточно.

– Нет, нет, – запротестовал он, залезая на кровать, – ты лучше возьми меня... возьми меня лучше вот так... *под крылушко*, – и полез головой ей подмышку. Победа была окончательной и бесповоротной – мать не отодвинулась, но наоборот, прижала его к себе. Подмышкой у нее было темно и прохладно и чуть-чуть пахло земляничным мылом и ее любимой рисовой пудрой.

– Ты ведь не сердись на меня больше, – пробурчал он, сопя от удовольствия, и не понять было, вопрос это был или утверждение.

Через полчаса оба уже крепко спали одетыми на кровати.

Ей снилось, что подружку ее Юльку вовсе и не *прошло* пулеметом на левом берегу, но что напротив, той удалось дотащить в окоп два здоровенных термоса, и теперь обе они до испарины напились чаю – сладкого крепкого горячего чаю, с настоящим сахаром!

Она забыла накормить сына, и он настолько был этому рад, что боялся поверить неожиданной удаче. Пристроившись поудобней, он еще крепче вжался в бок матери и накрылся ее рукой как одеялом – до того был мал и тщедушен.

«Под крылушком... – пробормотал он во сне. Он был вполне счастлив. Своего он добился.

Завтрашний день обещал быть лучше, чем прошедший.

Виктор Норд – режиссер и сценарист. Ему было 19, когда по его репортажу был сделан документальный фильм «Ночной вокзал». Это помогло ему поступить в Институт кинематографии на факультет режиссуры.

В 1973-м Виктор Норд уехал в Израиль. Первой его работой там стали военные репортажи для Си-Би-Эс и документальный фильм «Третий день войны» («Война Судного дня»).

С 1982 года Норд живет и работает в США (Нью-Йорк). Работы его представлялись на кинофестивалях (Канны, Сан-Франциско, Торонто, Таормина).

В Москве издан его роман «Непредвиденные последствия» – первая большая работа, публикуемая на русском языке.

Давид ГАЙ

ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ «АБРЕКА»

Иммигрант из Украины – Герой Америки

*Жить и сгорать у всех в обычае,
Но жизнь тогда лишь обесмертишь,
Когда ей к свету и величию
Свою жертвой путь прочертишь.*

Борис Пастернак



Глава 1. «ПАДАЕТ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА...»

В мглистую погоду море с высоты кажется серой свинцовой недвижимой массой, огромное, безбрежное пространство словно залито шероховатым бетоном. Северная часть Аравийского моря – не исключение, начинает играть всеми красками только при появлении огненного диска. Ветер, создавая рябь на воде, образует множество зеркал, пускающих веселые солнечные зайчики; тогда цвет улыбающегося моря разобрать трудно. В яркий летний полдень часть водной глади превращается в одно ослепляющее зеркало. Если же ветер поднимает рябь на поверхности моря в сумрачный день, то перед глазами расстилается серо-стальной простор, это уже скорее отсутствие цвета, чем цвет.

Такую картину можно наблюдать на морских просторах очень часто, особенно когда разыгрывается шторм и ураганный ветер рывкает и смешивает вершины волн с воздухом, взбивает их в серо-белую пену... Но тропические штормы и высокие волны в Аравийском море редки... Стив, во всяком случае, видел всего один... Другое дело – зимние муссоны с дождями, длящиеся с января по март.

Метаморфозы цвета особенно заметны из кабины самолета, снижающегося для посадки на палубу авианосца. Стив всякий раз фиксировал это глазами не стороннего наблюдателя – море для него, командира экипажа летающего радара E2C Hawkeye («Хокай»), почти за четыре года полетов стало постоянным, привычным атрибутом. И блики солнца на поверхности, и пена волн видны постоянно – и, на самом деле, бело-серый тусклый блеск – самый обычный вид моря. Именно поэтому серой краской красят военные корабли – стараются сделать их незаметней «на седой равнине моря».

Авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» или «Могучий Айк», или просто «Айк», как его называют в просторечии в Америке, прибыл в Оманский залив 25 января 2010 года, сменив своего собрата «Нимиц». Оманский залив соединяет Аравийское море через Ормузский пролив с Персидским заливом. Очень удобный район дислокации авианосца, учитывая войну с талибами.

«Айк» – гигантская, закованная в броню машина без единого иллюминатора, где на палубной площади в три футбольных поля

свили гнездо 20 истребителей F-14A, 36 истребителей-штурмовиков F/A-18, 4 самолета радиоэлектронной борьбы EA-6B, 4 самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2C «Hawkeye», 4 самолета противолодочной обороны S-3A и 4 вертолета SH-60, с экипажем около 6000 человек (включая авиаперсонал). Девиз корабля: «Мне нравится Айка». лейтенанту Стиву Зильберману он тоже нравится.

Первые боевые вылеты с «Айка» в рамках операции «Enduring Freedom» – «Несокрушимая свобода» были выполнены 28 января, через три дня после прихода в означенный район. 61 самолет 7-го палубного авиакрыла поддерживал с воздуха сухопутные войска коалиции союзников в Афганистане.

Все происходило, как прежде, начиная с 2001 года, только интенсивность ударов с воздуха снизилась – талибы научились прятаться в горах, применяли тактику партизанской войны, мелких стычек. 12 февраля в провинции Гильменд началась военная операция, в которой основное участие принимали американские, британские и афганские военные. В результате операции талибы были выбиты из главного города боевиков – города Марджа. В марте началась новая операция в окрестностях Кандагара.

На позиции талибов обрушивались крылатые ракеты, 500-фунтовые бомбы с лазерным наведением на цель и такие же бомбы с коррекцией по спутниковой навигационной системе, не говоря о ракетных ударах истребителей-штурмовиков.

Боевые вылеты истребителей и штурмовиков занимали 6-7 часов. Маршруты проходили через воздушное пространство Пакистана. Над территорией Афганистана самолеты выходили в район ожидания – удары наносились «по вызову». В каждом полете выполнялось по несколько дозаправок от французских и британских самолетов-заправщиков.

Наводили истребители и штурмовики на цели операторы летящего радара «Hawkeye» («Хокай») – «Ястребиного Глаза», как его часто именовали. «Наши парни вроде регулировщиков на воздушной улице – все видят, за всем следят, командуют, кому заходить на цель а кому подождать», – сравнение это, простое до очевидности, иногда приходило в голову Стива.

...Полетное задание «Хокая» в последний мартовский день ни-

чем особенным не отличалось. За завтраком экипаж обсудил поставленную задачу. Все как всегда, рутина. Обычно в полет уходят три оператора-офицера, но сегодня достаточно присутствия двух в центральной части самолета, где находится электронное оборудование и их рабочие места. Чего там только нет! Навигационная система, доплеровская радиолокационная станция, вычислитель аэродинамических данных, центральная гировертикаль, система воздушных сигналов, навигационный вычислитель, радионавигационная система «Такан», радиовысотомер, радиоконпасы дециметрового и коротковолнового диапазонов... Хозяйством этим ведаёт лейтенант Эд Пойнтон, замечательный парень, с которым Стив служит с 2007-го. В паре с Эдом сегодня офицер Рич.

От кабины летчиков к операторам ведет узкий проход. Дверь кабины всегда закрыта. Командир не вмешивается в их работу, у каждого она своя. Переговоры – по внутренней связи.

С Эдом Стив недавно провел неделю в командировке. Помогали коллегам на базе в Бахрейне. Жили в прекрасном отеле в Дубае. В свободные минуты делились планами на ближайшее будущее. Служба их в летном подразделении заканчивалась, оба в начале апреля возвращались к семьям в Норфолк. Стив собирался переехать во Флориду, в Пенсаколу – на авиабазу, где семь лет назад учился летать, и оставаясь на флоте, готовиться к поступлению в медицинскую школу. «Мечтаю стать врачом военно-морской «Скорой помощи»... «Командир и друг остается самим собой, у него в крови – помогать людям», – подумал Эд.

Он вернулся на корабль 30 марта и должен был лететь с Зильберманом на следующий день. Стив зашел в его каюту, поразвлекался видеоиграми и опять заговорил о скором расставании с кораблем и товарищами по эскадрилье. К радости встречи с женой и детьми примешивались, как заметил Эд, нотки грусти...

Второй пилот Джереми Арнотт посетовал на неважную погоду.
– Зато летим утром. Останется время для отдыха и занятий, – сказал командир.

Стив любил утренние полеты.

Джереми учился с ним в Политехническом институте в Трое, что под Нью-Йорком. Был на два курса младше. Обрадовался,

увидев Стива в составе эскадрильи «Хокай». А Стив – тем более, все-таки один институт заканчивали. Студенческое братство, весьма развитое в Америке. И, верный себе, взялся помогать, делился всем, что знал сам, передавал опыт. А Джереми, будучи в курсе планов командира по части медицины, в свою очередь, выступал в роли консультанта по органической химии, физике – Стиву предстояло сдавать серьезный экзамен.

Они жили на корабле в одной каюте. Как-то само собой второй пилот вспомнил за завтраком фразу Стива, брошенную на днях как бы мимоходом: «Скоро заканчивается мой контракт, а я так ничего важного для авиации и не сделал...»

– «Абрек», тебе не за что себя корить. Ты – классный летчик, стал еще и сигнальным офицером – paddlle, обучил этому других. Дай бог каждому сделать столько...

Стив еле заметно улыбнулся, как человек, не вполне согласный с произнесенным, но не испытывающий необходимости оспаривать услышанное.

«Абрек» был его летный позывной. Почему его так называли, не все знали. Джереми – знал, опять же со слов командира. Знал и Эд – при нем происходило придумывание позывного. О новых парнях, вливающих в их подразделение, бывалые авиаторы ничего еще не знают, поэтому начальные позывные – просто вариации имени человека или его внешних данных. Например, высокорослого называют «креветка», кого-то со звучной, «командирской» фамилией – Смитом (в Америке она самая распространенная, обыкновенная, ничем не примечательная). А как прозвать Зильбермана, родившегося в Советском Союзе (тогда он носил имя Мирослав) и с родителями эмигрировавшего в США?

В тренировочной эскадрилье его называли «космический кадет». Решили соединить космос и Россию. И тут кто-то обнаружил в Интернете ироничное и даже смешное: одну из двух обезьян, первыми полетевших в космос на советском спутнике и пробывших в невесомости с 14 по 20 декабря 1983 года, звали «Абрек»... Так возникло длинное, неудобоваримое сочетание: «Абрек – российская космическая обезьяна».

В России «абреками» называли воинственных кавказских горцев, принимавших на себя обет избегать всяких жизненных удоволь-

ствий и быть неустранимыми в боях и столкновениях с врагами; а на иврите абрек – очень умный; в Книге Бытия Ветхого завета слово это означает «преклонивший колени», «простертый перед Богом».

Длинное сочетание потом укоротили, и стал Зильберман просто «Абрек». Произносилось «Эйбрек», с ударением на первый слог.

...Полет продолжается уже четыре часа. Все идет по плану, без каких-либо отклонений. Все тот же привычный ровный плотный шум двух двигателей с восемью саблевидными лопастями винтов. «Хокай» идет на высоте 28 тысяч футов (8 тысяч метров) и готовится к возвращению на авианосец, находившийся в 90 милях от Пакистана. Скоро лейтенант Зильберман увидит вспененную сильным ветром свинцового отлива воду в бурунчиках и корабль, издали кажущийся таким маленьким. Каждый раз при подлете Стив представляет замершие на палубе истребители атрибутами детской игры «в самолетики» – такими миниатюрными они кажутся с высоты.

Он вспомнил электронное письмо, направленное родителям из Дубая 14 марта. Жена Катрина привезла дочку Сару погостить у бабушки с дедушкой. *«Я надеюсь, вы с удовольствием провели время с внучкой... Не могу дождаться, когда увижу ее... Планирую приехать домой в конце апреля. Мы с женой хотим продать дом в Колумбусе и переехать в Пенсаколу в мае. Я вскоре пошлю вам по e-mail несколько фото. С любовью...»*

16 марта он разговаривал с родителями по Skype. После разговора вдруг подумал: «Я взрослый человек, отец семейства, у меня любимая жена и двое чудесных деток, но когда думаю о маме и отце, вижу их лица, слышу их голоса, охватывает непередаваемое чувство, приливает неизбежное тепло, огромная нежность. Понимаю, как они переживают за меня, своего единственного сына. Только став отцом, я понял, что это такое...»

Позавчера, в понедельник утром, он вновь направил им электронное послание.

«Привет, мои дорогие родители. Я не имею от вас вестей. Как дела дома? Надеюсь, все хорошо. Катрина сказала, что Сара уже вернулась. Надеюсь, вы чудесно провели время в Колумбусе... У меня все великолепно. С любовью...»

...Командир сообщил по интеркому: следующий E2C взлетел с

палубы авианосца и взял курс на Афганистан. «Вторая смена», подумал Пойнтон, наша работа сделана, теперь другой «Хокай» станет выполнять наши обязанности.

В течение полета командир не обременял Эда вопросами, ничем не отвлекал, давал возможность сосредоточиться над решением оперативных задач. Теперь же по внутренней системе связи они обсуждали, сколько топлива осталось. Протяженность маршрута такова, что «Хокай» обычно подлетает к кораблю с небольшим количеством топлива. Это означает: экипаж имеет ограниченные возможности на исходе топлива. В случае какого-либо ЧП для принятия экстренных решений времени остается в обрез – нельзя далеко улетать от палубы авианосца.

...Начинается снижение. «Хокай» лейтенанта Зильбермана держит курс в зону ожидания. Все будет строго по инструкции. Он делает один или два круга на расстоянии примерно 30 миль от авианосца, поддерживая связь с ЦУВД. Получив разрешение на выход из зоны ожидания, «Соколиный Глаз» с помощью ответчика навигационной системы «Такан» выйдет в район нахождения авианосца. На это отводится не более 6 мин. Самолет снизится до 200 футов и одновременно погасит скорость до 220-230 миль в час с тем, чтобы на расстоянии 10 миль от авианосца находиться в горизонтальном полете. Этот рубеж называется «десятимильными воротами». При подходе к нему командир по радиотелефону сообщит позывные эскадрильи и бортовой номер самолета.

Заход на посадку заканчивается на расстоянии 5 миль от авианосца. К этому времени самолет снижается до 120 футов. После доклада летчика о том, что он видит средства обеспечения посадки, оператор передает эстафету офицеру управления посадкой.

А дальше – торможение самолета при посадке с помощью тросов аэрофинишера. Тросы натянуты поперек посадочного участка чуть выше палубы с определенными интервалами и соединены с гидравлическими приводами, обеспечивающими натяжение тросов, необходимое для торможения самолета. «Хокай» выпустит хвостовой крюк (гак), зацепится им за один из тросов аэрофинишера и остановится примерно через сто метров после касания палубы. Полет окончен.

Так должно быть и в этот раз. Рутинная работа...

И вдруг в наушниках командира раздался голос второго пилота: – «Абрек», в правом двигателе падает давление масла!

Глава 2. СУДЕБ СКРЕЩЕНИЕ

Две ветви этого семейного древа, казалось, никак не могли пересечься и дать зеленые побеги. В самом деле, что общего между выходцем из беднейшей многодетной семьи из-под Днепропетровска Григорием Соколовым, самым младшим, 13-м ребенком, и Ольгой (Лёлей) Эльмус, еврейской дочерью состоятельного владельца аптек в Кировограде? Революция смешала все прежние понятия, перевернула традиции и взгляды на брак.

Нищета в семье Соколовых была ужасная. Грише не в чем было ходить в школу. Ждал, когда придут старшие братья, надевал их ботинки и шел на занятия.

Лихолетье не обошло стороной Соколовых. В Гражданскую был убит брат Григория, воевавший на стороне «красных», как и положено бедняку. Его повесили на сельской площади.

Григорий стал боевым летчиком. Девушки в ту пору довольно часто выходили замуж за военных, тем более за летчиков, овеванных романтикой подвига при спасении челюскинцев, знаменитых сверхдальних перелетах сталинских асов, воспеваемых газетами и радио. Летчик – была особая профессия, синоним мужества и отваги, и Григорий Соколов олицетворял ее одним своим внешним видом. Хотя, по мнению знавших его, он не отличался особой красотой – в отличие от молодой жены. Лёля Эльмус и впрямь чудо – большие черные глаза, гладкие черные волосы, чуть полноватая, но статная.

Родители ее считались богатыми: ну как же – владельцы аптек. Большевики быстренько все забрали, экспроприировали, как тогда говорили. И переехали Эльмусы из Кировограда в Киев, забыв о былом богатстве.

Отец Лёли Соломон Маркович был красавец (дочь пошла в него). Он обладал сочным басом-баритоном, учился в Будапеште вокальному искусству. Впоследствии был солистом в Киевской опере,

а затем пел в хоре. Как вспоминает мать Мирослава – Анна, «я выросла в оперном театре, получала контрамарки».

Что касается Лёлиной мамы Хини Марковны, то она работала в регистратуре поликлиники.

Лёля закончила школу и устроилась машинисткой ...«в органы». Да, представьте себе. Пути господни неисповедимы... Должность никакая, к практическим делам «заплечных дел мастеров» Лёля никакого отношения не имела, но чего ей стоило перепечатывать протоколы допросов! Волосы дыбом вставали... А ведь шел только 1933-й. До Большого террора оставалось четыре года...

Меж тем на Украине тысячи людей косил Голодомор, устроенный сталинским режимом. Как следует из рассекреченных архивов, сообщения о первых массовых случаях смертей от голода относятся к началу января 1933 года. Пик голода приходится на вторую половину марта – май. Киев и одноименная область оказались в числе наиболее страдающих от голода. «В органах» сотрудникам давали пайки, очевидно, что-то перепало и Лёле. Так, может быть, этим обстоятельством и объясняется устройство ее туда на работу? Тем не менее, как вспоминает ее дочь Анна, мама мучилась воспоминаниями о том периоде, особенно о 1937-38 годах, не раз повторяла – та работа сломала в ней многое. И уйти было страшно – она же носила в себе определенные секреты...

Григорий познакомился с Лёлей на танцах и влюбился с первого взгляда. Она ответила взаимностью. Любовь никто не отменял, она существовала при всех режимах, при любой власти, даже такой как советская.

Поженились они в 1935-м. Ему было 25, Лёле – 19. Сестры Григория относились к его избраннице скорее отрицательно, что нетрудно понять. Однажды к брату в гости приехала одна из сестер – Феня. Пожила немного и мимоходом бросила соседям: «Как он мог выбрать себе в жены еврейку?» Соседи донесли. Понятно, Лёля возмутилась. Муж ее поддержал. Визиты родственников в дальнейшем по возможности отменялись.

Лёля прошла крепкую жизненную закалку. От природы наделенная практической сметкой, она приобрела качества, незаменимые в советской действительности. Не случайно многие вокруг считали ее, и не без оснований, женщиной большого ума. «Что вы

у меня спрашиваете, как быть? Идите к Лёле, она даст правильный совет», – говорила ее соседка.

*Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа,
Киев бомбили, нам объявили,
Что началась война!*

В ночь на воскресенье киевляне проснулись от грохота и взрывов. Что это значит, что произошло – никто не знал. И только в 12 часов пополудни по радио выступил Молотов (заместитель председателя Совета Народных Комиссаров) и объявил о вероломном нападении немцев. В небе над Киевом то и дело появлялись фашистские «Юнкерсы»...

Стало известно, что немцы бомбили военный завод по Брест-Литовскому шоссе. Бомбежке также подверглись аэродром Жуляны и вокзал.

25 июня было, как помнится, самое страшное утро. Стреляли зенитки и пулеметы со всех сторон. Осколки сыпались как дождь. Стекла звенели, а дом дрожал, как во время землетрясения.

Через несколько дней под Киевом началось сооружение противотанковых рвов и полевых укреплений. За это всем выдавали хлеб, колбасу и папиросы.

Началась эвакуация киевских оборонных заводов, учреждений и граждан, кто имел на это разрешение и пропуск на вокзал.

Вместе с отступающей армией массы людей ринулись на вокзалы, на пристани, дороги были запружены машинами, телегами.

Эвакуация производилась на вокзалах, однако всех увезти не могли. Вокзалы полностью были оцеплены, на них функционировали особые пропускные пункты, за ограждение которых пропускали лишь тех, кто имел бронь.

Беременная Лёля, ее сестра и родители Соломон Маркович и Хиня Марковна сумели пробиться на вокзал. Во время посадки в состав в сумятице потеряли чемодан с вещами и ценностями.

Некоторое время жили в Вольске, это Саратовская область, где в октябре родилась Анна. Потом был казахстанский Казалинск, полуголодное существование в хлеву. У Лёли не было молока, Анна

«выросла на воде». В общем, намыкались, наголодались, как все эвакуированные.

Вернулись в Киев после освобождения города.

Григорий Соколов прошел всю войну, летал на истребителях. Дважды горел в самолете, был ранен и одно время попал в плен, оказался в лагере, откуда бежал. Боевая биография...

Закончив летать, вышел в отставку в звании майора.

Ему предложили должность освобожденного секретаря партийной организации на предприятии оборонной промышленности. На этой работе Григорий Герасимович воочию столкнулся с теми, кто называл себя «убежденными коммунистами», а сами не верили ни в бога, ни в черта. Так что уважения к партийным органам у бывшего фронтовика не было, скорее наоборот.

...У супругов Соколовых родилась еще одна дочь – Элла.

Забегая вперед, отмечу большое влияние деда на маленького Мирослава (Славика), сына Анны. Мальчишка обожал слушать рассказы Григория Герасимовича о фронтовых буднях, а тому довелось участвовать в Финской кампании и в войне с Германией. В значительной степени выбор внуком профессии был продиктован примером деда.

Когда дедушка умер в Америке в возрасте 92 лет, Мирослав (Стивен) приехал на похороны. Он написал текст для выступления. Анна раскритиковала: «Одни общие слова, такая сухая речь. Сын, послушай свое сердце, вспомни Гришу, как ты его называл. В память о нем нужно сказать по-другому...» И сын нашел нужные слова.

«Это очень трудно для меня стоять здесь сегодня и прощаться с моим дедом. Он был больше, чем дед, он был моим вдохновением, способствовал, чтобы я стал тем, кем являюсь сегодня. Некоторые знают, его как Григория Герасимовича, некоторые как Грегори, некоторые как г-на Соколова, но я знаю его как Гришу. Он любил, когда я называл его Гриша, а не дед, потому что хотел чувствовать себя молодым.

Я знал Гришу, прежде чем начал ходить. На самом деле, он практически воспитывал меня. Выросший в Киеве, большинство выходных я проводил с Гришей и Лёлей. Все знают, как сильно он любил Лёлю, и насколько джентльменом был. Он рассказывал мне историю

о том, как встретил Лёлю на танцах в военном клубе, где она играла на пианино, и как с первого взгляда влюбился в нее... Рассказывал о том, как был боевым летчиком во время Второй мировой войны, как сражался и как удалось выжить.

Вчера моя мама принесла костюм Гриши с 18 медалями и 20 орденскими лентами – наградами, которые он получил за годы службы в армии и проявленное мужество. Я задумался о том, что пришлось ему пережить на фронте. Гриша был сбит два раза. Он провел 11 месяцев в качестве военнопленного в лагере. Гриша спасся для нас, чтобы мы могли стоять здесь сегодня и вспоминать, какой великий человека он был, насколько был любим окружающими, и особенно, насколько он повлиял на мой выбор стать пилотом.

Я благодарю его за то, что он сумел наперекор обстоятельствам остаться в живых во время войны, за то, что имел такую замечательную семью, и я благодарю его за вдохновение. Я всегда буду помнить его как любящего дедушку, и в следующий раз я приду сюда в военной форме и отдам тебе, Гриша, честь, поблагодарю за то, что ты на фронте сделал все для победы...»

...Взросление дочерей Григория Герасимовича и Лёли шло быстро. Вот уже и школа для Анны позади. Она планировала сдавать экзамены на биологический факультет Киевского университета. Сведущие люди сказали прямым текстом: «Если мама еврейка, никаких шансов поступить нет». И это несмотря на то, что в паспорте Анна значилась украинкой – по отцу. Во Львовском университете – такая же ситуация. Государственный антисемитизм расцвел на Украине махровым цветом.

На семейном совете было принято решение поступать в Ужгородский университет – туда абитуриентов с еврейской кровью «брали».

После его окончания Анна вернулась в родной город. Что делать дальше? Лёля работала в журнале «Врачебное дело», обросла связями в медицинском мире. С ее помощью дочь устроилась в лабораторию областной больницы. Через год возникла мысль об аспирантуре. Мечтой Анны было заниматься проблемами биохимии и физиологии, быть поближе к медицине. В Одесском университете, чья высокая репутация была известна в мире, имелась такая кафедра во главе с профессором Файтильбергом. Под его крылом Анна сделала диссертацию и защитилась, став кандидатом наук.

Защита была тяжелой. В деканате прознали про маму-еврейку, слух распространился, задавались каверзные вопросы, но в итоге Анна победила.

Ее приняли на работу в Киевский Институт гигиены питания, в отдел биохимии. Она успешно работала, писала статьи в научные журналы. Фамилия «Соколова» и «украинка» в паспорте помогли в карьере... Анна была вся в науке.

Замужество и в итоге рождение Мирослава-Славика достойно особого описания. Своего рода этюд на тему – чего только не случается в жизни.

Однажды Лёле позвонили: «В одной хорошей семье есть чудесный парень...» С согласия Анны дали ему ее телефон. День проходит, неделя, другая – звонка нет. Анна перестала думать о этом «чудесном парне».

Прошло десять лет. Анне уже 36, солидная, серьезная дама, успешно занимается наукой и... по-прежнему одинока. Мама Лёля в который раз предлагает познакомиться с достойным молодым человеком. Анна, к удивлению мамы, соглашается. Незнакомец звонит и приглашает поужинать в ресторан «Динамо». Невероятно, но из кармана он вынимает... ту самую записку с координатами Анны, которую получил десять лет назад!

– Почему же вы не позвонили десять лет назад? – с укоризненной улыбкой спросила Анна.

Тот пожал плечами и виновато улыбнулся...

В 1978 году они поженились и провели на Рижском взморье. Там в медовый месяц и был зачат Славик.

Муж Анны Борис Зильберман – коренной киевлянин. Отец его Мирон Михайлович по профессии архитектор, мама Белла Наумовна – фармацевт. Старшую сестру Бориса тоже звали Анна.

Мирон Михайлович перед войной стал начальником военно-строительного управления в Молдавии. Семья переехала из Киева в Кишинев, где и застало гитлеровское нашествие. Капитан Зильберман прошел всю войну, был контужен...

Между прочим, он еще с вузовской скамьи (архитектурный факультет Киевского строительного института) дружил с замечательным писателем и активным диссидентом Виктором Некрасовым, автором одного из лучших произведений о войне – «В окопах

Сталинграда». На фронте их связь нарушилась – попросту потеряли следы друг друга. Зильберманы – мама и двое детей мыкались в эвакуации, сначала в Нальчике, потом в Самарканде. Некрасов каким-то чудом нашел жену друга, переводил ей свои офицерские деньги. Через нее нашел и Мирона Михайловича. Когда Некрасов был ранен, друг, в свою очередь, помогал ему.

В сентябре 1974 года Виктор Платонович с женой получили разрешение на выезд и навсегда покинули СССР. На проводы пришла мама Бориса Белла Наумовна. А вот отец прийти побоялся – он занимал высокий пост и понимал, что КГБ по головке не погладит. Потом сам себя осуждал за это, но...

Кстати, Белла Наумовна была единственной еврейкой в украинской «кремлевке», заведовала лабораторией, принимала участие в лечении первых лиц республики, начиная со Щербицкого. Она являла пример исключительной интеллигентности и порядочности. Никогда никого не осуждала, не злословила, прекрасно относилась к невестке: «Ты же моя доченька...»

Бог вознаградил ее, дав завидное долголетие – она умерла в 102 года в 2010-м.

Борис получил хорошее образование, унаследовал от родителей высокую культуру, играл на скрипке. Работал инженером-строителем в крупных проектных институтах.

Становится понятно, почему его с Анной сын Славик вырос именно таким, унаследовав лучшие черты старших поколений обеих семей.

Глава 3. «ОТКУДА Я? Я ИЗ МОЕГО ДЕТСТВА...»

Так мог с полным правом сказать о себе фразой писателя и летчика Сент-Экзюпери лейтенант Мирослав (Стивен) Зильберман. Детства, проведенного в Киеве.

Рос Славик отнюдь не тихим, домашним пай-мальчиком. Хотя за ним был строгий присмотр, умудрялся иной раз придти домой с гуляния в крови. Однажды играл с ребятами «в войну», поцарапал шею проволокой, было много крови, но он улыбался. Остался небольшой шрамик.

Замечено, что дети, за определенными исключениями, натуры довольно безжалостные: отрывают крылья бабочкам и жукам, давят гусениц, мучают собак и кошек и пр. Часто влияет дурной пример взрослых. Славик, повторю, не был пай-мальчиком, но душа его не воспринимала никакого насилия над «братьями нашими меньшими». Однажды зимой родители обнаружили в кухне большого, дурно пахнувшего жука. Анна, хотя и биолог, такого рода «живность» не любит. «Его надо уничтожить», – скомандовала она. «Как это уничтожить?» – не понял сын. Он взял салфетку, аккуратно завернул в нее жука и вынес в парадное.

Мелочь, скажете? Из таких мелочей все потом и складывается.

Рос Славик худенький, плохо ел, возили его оздоравливать на море в Геленджик. Но характер рождался крепкий, мальчик мог настоять на своем. Однажды во время отдыха шестилетний Славик «положил глаз» на красивую девочку с громадными синими глазами. Начались танцы, толстячок примерно одного возраста со Славиком хотел пригласить девочку, но не тут-то было. Славик оттеснил его и тоном, не терпящим возражений: «Она пойдет танцевать со мной!»

Славик дружил с двоюродным братом Мишей – сыном старшей сестры своего отца Бориса Зильбермана – Ани. Мальчишки устраивали у нее дома форменный кавардак. Любили шкодничать. Как-то Аня готовилась к приему гостей. Приготовила компот и кастрюлю поставила в холодильник. Юные шkodники бросили в кастрюлю кусок мыла... Влетело им по первое число...

«Ой, как хорошо, тихо!» – говорила Аня, когда Славик уходил домой.

Учитывая музыкальность семьи (дедушка по маминной линии и папа), Славик не остался в стороне и увлекся игрой на фортепиано. Пару лет проучился, посещал концерты. Способности к музыке у него развились рано, многие советовали избрать эту стезю, но он выбрал иное...

Учился Славик хорошо, хотя отличником не был. Знания давались ему легко. С юных лет умел различать шалости и серьезные дела. Как говорится, делу время, потехе час. Там, где требовалось быть серьезным, он был им.

В самый последний год перед эмиграцией семья стала посещать синагогу. Славик проявлял к еврейству большой интерес. В

Колумбусе, штат Огайо, где поселились Зильберманы, Славик узнал раввина, ранее приезжавшего в Киев, с которым мальчик тогда познакомился. Самое удивительное, раввин тоже узнал его. Настала пора провести бар-мицву, но сын не захотел. Он не терпел делать что-то по обязанности, потому что так принято. До всего должен был дозреть, дойти сам. Одновременно был очень скромный и не хотел обращать на себя внимание.

Спустя четыре года, никому ничего не сказав, он совершил обряд обрезания. Родители узнали об этом, видя, как парень при ходьбе припадал на ногу...

Еще раньше он сменил фамилию «Соколов», полученную при рождении (конечно, с такой фамилией жить в Союзе было гораздо легче!) на «Зильберман». В Америке он хотел быть евреем, внутри ощущая себя именно таковым, при всей любви к дедушке Грише.

Сестра Анны – Элла эмигрировала с близкими в Штаты в 1978-м. Событие это отразилось на судьбе отца и матери. Григорию Герасимовичу пришлось уйти с работы. На секретном оборонном предприятии отъезды родственников в Америку и Израиль воспринимались как предательство. Соколову на партсобрании устроили судилище, его клеймили позором. Он на ногах перенес инфаркт и не знал об этом. Так называемые друзья отвернулись от него. Такова была тогдашняя реальность.

Беда никогда не приходит одна. Через определенное время к Соколову наведались двое мужчин. Позвонили в дверь, представились работниками домоуправления. Вошли в квартиру и потребовали деньги, золото, драгоценности. «У нас ничего нет!» – ответил ветеран войны, и это была правда. Тогда его и жену начали избивать.

Григорию Герасимовичу удалось выбежать из квартиры и позвать на помощь. Лёля бросилась на балкон с криком: «Помогите!» Ее продолжали избивать на глазах собравшейся толпы, но никто не шелохнулся. Григорий Герасимович вбежал обратно в квартиру, и бандиты ретировались, ничего не взяв.

Анна с близкими в это время была на даче в Святошино. Вернувшись, увидела ужасную картину: избитые родители, с тяжелой травмой головы у мамы. Она отправила их в больницу. «Если у вашей мамы в течение года не будет инсульта, то считайте, что ей повезло», – сказал врач.

Маме не повезло – инсульт случился. Маленький Славик первым обнаружил упавшую бабушку и позвал нас: «Лёле плохо!» Благодаря малышу ее спасли, экстренно отправив в больницу.

Проанализировав ситуацию, семья пришла к выводу, что речь шла не об обычных грабителях – те, как правило, действуют по наводке, два пенсионера не представляли для них интереса. Устроить чуть ли не публичное избиение... – нет, это не вписывалось в почерк бандитов. Естественно, милиция никого не нашла, да и не искала – по почерку было видно, что действовали сотрудники КГБ. Всесильное ведомство мстило за отъезд дочери, мстило открыто, чтобы другим была наука.

Так им казалось тогда. Думаю, они были недалеко от истины...

После Чернобыльской аварии вопрос эмиграции встал для Зильберманов особенно остро.

Решение, однако, все откладывалось. Дядя Бориса работал на сверхсекретном предприятии. Племянник боялся, что у дяди и его близких родственников возникнут неприятности.

А покамест Анна и Славик поехали в США по приглашению Эллы. Разрешение на поездку получили без особых проблем – шел уже 1989-й, времена изменились к лучшему.

Десятилетнему сыну Америка понравилась. И Колумбус, где он с матерью жил в квартире Эллы, и поездки, особенно в Диснейленд. Двоюродная сестра Илона с улыбкой вспоминает, как Славик собирался устраиваться на ночлег в первую ночь пребывания в Колумбусе. Она и ее брат были в одной комнате, гость – в другой, дети решили позабавиться, создавали всякие мелкие шумы, Славик отвечал тем же, в итоге никто не спал. Общаться им было нелегко: Славик не знал английский, Илона и брат недостаточно владели русским.

«Хочу остаться здесь», – безапелляционно заявил мальчик. – «Как же ты хочешь остаться? А папа?» – «О папе не беспокойся. Я все устраю...» – «Каким образом?» – «У Эллы есть приятель, пожилой американец. Он на тебя посматривает. Выходи за него замуж, не всерьез, а понарошку, а папу мы потом вызовем...»

Вот такие фантазии питали голову мальчишки...

После возвращения в Киев у Анны состоялся серьезный разговор с мужем.

«Борис, мы тебя очень любим, но если ты не хочешь ехать, мы

уедем сами. Меня волнуют последствия Чернобыля, и я не хочу, чтобы сын попал в советскую армию, испытал «дедовщину».

«Я все понимаю. Но что ты будешь делать в Америке? Мыть посуду?»

«Если надо, буду мыть...»

Григорий Герасимович и Лёля уехали в США по вызову дочери в 1990-м. Дядя Бориса к тому времени скончался, больше никаких препятствий для отъезда не существовало. Решение было принято.

Времена, действительно, изменились. Начальник отдела кадров проектного института, генерал, пожал Борису Зильберману руку и пожелал удачи. «Если сможешь, пригласи мою дочку», – сказал на прощание.

Уже никто не мстил «за предательство», остающиеся втайне, а некоторые открыто завидовали уезжающим. Никто не знал, что СССР доживает последние месяцы, но турбулентность нарастала, предчувствия не обманывали – страна на пороге глубоких изменений, возможно, катаклизмов.

1 мая 1991-го самолет унес семью Зильберманов через океан. Их ждал Колумбус, столица штата Огайо.

Глава 4. «МЫ ТЕРЯЕМ ВЫСОТУ...»

И вдруг в наушниках командира раздался голос второго пилота: – «Абрек», в правом двигателе падает давление масла!

Стивен по интеркому попросил Эда проверить, есть ли утечка – с его места двигатель был отчетливо виден. Он подтвердил, что за правым двигателем видна струя вытекающего масла.

Датчики это тоже подтверждали.

Существуют четкие инструкции, как поступать в такой ситуации. Стивен прекрасно их знал. Посоветовавшись по интеркому, экипаж решил пока ничего не предпринимать, но если ситуация ухудшится, пилоты будут следовать инструкциям и выключат двигатель. Позволить ему продолжать работать без масла опасно: слишком сильное трение в компонентах может привести к возгоранию, как, скажем, в моторе автомобиля.

Стивен связался с кораблем и сообщил о проблеме. Представитель E-2 на корабле оценил сообщение и согласился, что пока ситуация вполне стандартная и надо следовать инструкциям аварийных процедур. Представитель согласился с планом командира и сказал, что будет информировать обслуживающий персонал для приема самолета с аварийным двигателем

Авианосец приближался. Давление моторного масла продолжало падать. Вот-вот дойдет до критической отметки, когда по инструкции правый двигатель должен быть выключен.

Стивен имел опыт посадок на корабль с одним работающим мотором.

Внезапно, в десяти милях от авианосца, что составляет около трех минут полета, давление масла в поврежденном двигателе начало падать с катастрофической скоростью и мгновенно достигло опасного уровня. К этому времени самолет был на высоте 2000 футов.

Медлить было нельзя – Стив и второй пилот Джереми Арнотт приступили к выключению правого двигателя.

Вспоминает командир радарной группы Эд Пойнтон:

«В течение первых нескольких секунд я понял – что-то идет не так. Обычно, когда двигатель выключается, самолет реагирует на потерю тяги, немного отклоняется от курса, но потом все приходит в норму, а уровень шума в самолете понижается, так как работает только один двигатель. На этот раз мы имели совсем иное. Самолет начало сильно трясти, и он стал гораздо более шумным. Потребовалось несколько мгновений, чтобы понять: отключение двигателя не происходит должным образом, и оценить всю опасность нашего положения. Самолет становился неуправляемым».

Что же произошло? Попробуем разобраться. Да простят автору читатели некоторые технические термины.

Есть такое понятие как *флюгирование винта*. Это поворот лопастей воздушного винта регулируемого шага в такое положение, при котором предотвращается авторотация, то есть самопроизвольное вращение винта и минимизируется лобовое сопротивление воздуха. Требуемый эффект достигается при угле установки лопастей (относительно плоскости вращения) около 85-90°. Применяется в случаях, когда, повторю, необходимо минимизировать лобовое со-

противление после отказа (выключения) двигателя в полёте. В истории авиации известны случаи, когда из-за отказа системы флюгирования полёт на оставшемся двигателе становился невозможен.

Вспоминает Эд Пойнтон:

«Стивен и Джереми продолжали выполнять все необходимые действия, однако ничего не срабатывало. Никак не удавалось поставить лопасти перпендикулярно потоку воздуха, и это создавало дополнительную тягу. Я и мой напарник Рич никак не могли повлиять на ситуацию и помочь пилотам. Мы прислушивались по интеркому, что они говорят, и смотрели в иллюминатор на злосчастный винт, который никак не хотел повиноваться. Самолет по-прежнему сильно трясло.

В нашем отсеке имелось три важных прибора – выотомер, ТАКАН (показывает направление полета к кораблю, в нашем случае направление и расстояние до судна), и указатель скорости. В то время как пилоты шаг за шагом повторяли команды, безуспешно пытаясь поставить лопасти в нужное положение, я взглянул на выотомер и увидел, что мы летим значительно ниже 2000 футов над уровнем моря. Я обеспокоенно сообщил об этом пилотам: «Мы теряем высоту, нужно подняться любой ценой». Стивен сказал, что попробует подняться. Да, ситуация чрезвычайная, но мы еще имеем шанс совершить аварийную посадку на корабле. Увы, через несколько секунд стало ясно, что самолет не может хоть немного набрать высоту и, хуже того, быстро продолжает снижаться.

По приказу командира экипаж стал готовиться к экстренной эвакуации. Парашюты и надувные жилеты мы расположили так, чтобы они не закрывали доступ к выходу.

...Самолет снизился еще больше, его высота достигала всего 300 футов. Мне показалось, что пилоты, занятые лопастями, не заметили столь опасного снижения. Я сообщил об этом в рубку. Но Стивен и сам все видел. Самолет не слушался. Тогда Стивен приказал сообщить на авианосец, что команда покидает самолет».

Глава 5. НОВАЯ ЖИЗНЬ

Начало всегда самое трудное, тем более у иммигрантов далеко не первой молодости – Анне шел 50-й год, Борису – 51-й. Попали они в Америку, с одной стороны, слишком поздно (возраст!), с другой стороны, слишком рано (никакие бенефиты им не были положены, опять-таки по возрасту).

Анна:

«Пророчество мужа не сбылось – посуду я не мыла, однако в ресторане пекла пирожки, это правда. Такой стала моя первая работа.

Выходила на связь с колледжами – работала в Medical library Of Ohio State University пыталась связаться с американскими учеными, которых упоминала в своих статьях киевского периода. В библиотеке нашла одиннадцать таких статей, их упоминание позже помогло найти работу... В Еврейском центре, опекавшем нас, меня познакомили с богатой влиятельной женщиной Беллой Вексер. Та, в свою очередь, вывела на директора научно-исследовательского института при крупнейшем госпитале. Я попросила его о волонтерской работе. А директор взял меня на ставку – 10 долларов в час, это был большой сюрприз для меня.

Работать пришлось с масс-спектрометром. В микробиологии этот прибор позволяет с высокой точностью определить количественный и качественный состав вещества, его структуру, физико-химические реакции. В частности, используется для идентификации микроорганизмов в биологических средах – например, для определения их чувствительности к антибиотикам, создания генетического паспорта человека. Подобные исследования имеют огромное значение для развития этой отрасли медицины.

Все было прекрасно, вот только работу с прибором я, по сути, не знала. На изучение мне дали месяц. Я справилась с задачей. зарплата моя покрывалась за счет гранта, деньги закончились и меня перевели на другую работу, уже в медицинскую школу в университете. Я проработала в этом месте четыре года, опубликовала пару научных статей. Пришлось иметь дело с сильными радиоактивными веществами, защиты от них, как прежде в киевской лаборато-

рии, не было. Родители и муж настояли, чтобы я ушла с вредной работы.

Далее я начала изучать *real-estate*. Поступила на специальные курсы, сдала экзамен и получила лицензию агента по продаже недвижимости. Мне нравилось мое новое занятие. Как говорится, если не можешь заниматься тем, что любишь, полюби то, чем занимаешься. Так и я...

Эта профессия приносила доход, мы с мужем купили небольшой дом...»

Борис:

«Я хотел трудиться. Специальность у меня для Америки неплохая, проектно-строительное дело я знал, опыт имел большой, но английский... Язык на нуле. Ходил по городу, смотрел по сторонам. Вижу – стройка идет, выяснил, что строится ресторан. Одновременно там открылись курсы для будущих работников общепита. Я записался. Платили за учебу 5 долларов в час. Прозанимался две недели, чувствую – не мое.

Я пошел в колледж и начал изучать английский. Мой товарищ по Киеву купил мне машину, сразу стало легче и проще передвигаться по городу.

Экономика США в тот период была еще не на подъеме, устроиться по специальности я не смог. Конечно, главным препятствием был мой слабый английский, а не нехватка рабочих мест. Увы...

Сын нашего доброго ангела Беллы Векснер, очень симпатичный человек, владел крупным бизнесом. Появилась возможность использовать эту связь, но опять-таки не хватало знания языка, чтобы полноценно работать в его компании.

В итоге я устроился клерком на крупную торговую базу, снабжавшую магазины парфюмерной продукцией. Проработал там 19 лет, став чуть ли не ветераном. В связи с уходом на пенсию мне устроили торжественные проводы...»

А как складывалась в Колумбусе жизнь Славика? В школе поначалу были проблемы. «Над моим английским смеются», – пожаловался родителям. – «Смейся вместе с ними», – посоветовал отец. Прошло время, и Славик стал ребячьим вожаком.

Вспоминает двоюродная сестра Илона: «Славик был очень милым, любознательным, добродушным, любил смеяться. Очень уважительно относился к моей маме – его родной тете. Первое лето мы проводили много времени вместе, купались, ездили на велосипеде, наслаждались отдыхом. После того, что лето закончилось, общались уже меньше, в том числе из-за разницы в возрасте – я была старше.

Запомнила его очень красивым в форме военно-морского флота. Славик был одним из тех, кто участвовал в моей свадебной церемонии под хупой.

Увы, потом мы виделись редко, у каждого была своя жизнь, свои заботы.

Начав учиться в 6-м классе начальной школы в Montrose, Славик подружился с Алленом Голдбергом, тоже сыном эмигрантов, единственным в классе говорившем на русском. Вместе они проводили досуг, играли.

«Этот день начинался как обычно: математика, английский, история, затем обед и перерыв. Во время перерыва учительница, г-жа Эннис, подвела ко мне светловолосого, глядевшего с опаской мальчика. Она сказала, что мальчика зовут Славик Зильберман, он из Советского Союза и будет учиться в нашем классе. Так как я был единственным в классе, который говорил по-русски, передо мной была поставлена задача помочь Славiku, который не говорил по-английски.

Мы быстро подружились и потом вместе занимались в хай-скул. Славик мне нравился своей независимостью и острым, цепким умом.

За пределами школы Карл Бейкер, Славик и я сформировали нечто вроде клуба под названием «Золотая монета Поссе». В основе его лежало, нетрудно догадаться, детское озорство. Мы, например, играли в снежки, иногда бросали снежки в автомобили и удирали. Впрочем, дальше невинного озорства дело не шло – все-таки мы были дети из приличных семей.

Я проводил последний год средней школы за рубежом, обучаясь в Латинской Америке. А когда вернулся, увидел Славика с красивой подругой Катриной и большим количеством друзей. Я запомнил его всегда улыбающегося, всегда готового помочь в чем-нибудь. Настоящий друг.

После случившейся трагедии я должен был выступить с речью о Славике в нашей средней школе. Переживал потерю человека, который был моим лучшим другом, не справлялся с переполнявшими эмоциями. Вместо меня подготовленный текст прочитала моя мама...

Воспоминания о Славике по-прежнему вызывают слезы. Как вопиюще несправедливо случившееся, ведь он был рожден для долгих лет жизни в кругу любимых людей, для воспитания детей, для счастья...»

Вспоминает школьный друг Славика Карл Бейкер:

«Впервые я встретил его в 6-м классе начальной школы в Montrose. Он представился как «Слава» и так мы называли его в течение всего времени дальнейшей учебы в Vexley хай-скул.

Он появился на школьном дворе в безрукавке с Микки Маусом на груди, и мы сразу поняли, что понятия не имеет о том, что считается престижным у американских подростков.

Поначалу казалось, что он не говорит по-английски. Оглядываясь назад, полагаю, что он, вероятно, знал гораздо больше английских слов, чем мы думали, но не использовал их. Тем не менее, в классе было несколько ребят (один по имени Джон), которые думали, что было бы смешно научить Славу некоторым плохим словам и заставить повторить перед учителем...

Примечательно, как быстро Слава прогрессировал в английском и понимании американской культуры. Буквально через несколько недель он уже более или менее адаптировался в общении с американскими детьми. Достаточно быстро овладел английским языком, говорил практически без акцента. Были и другие выходцы из бывшего Советского Союза в нашем школьном округе, но Слава выделялся среди них, был на голову выше с точки зрения изучения языка и ассимиляции в культуру. Я не знал, являлось ли это результатом природных способностей или тяжелой работы. Видимо, и то, и другое. В общем, все было не так просто для него, как казалось.

Моя дружба с ним развивалась органически с 6-го класса вплоть до окончания средней школы. 6-й класс был довольно небольшой (около 35 детей), так что все очень хорошо знали друг друга, и все мальчишки дружили. Мы тратили немало часов на игровой площадке. Ког-

да же пошли в 7-й класс хай-скул, дружба у многих закончилась, но Слава и я оставались друзьями.

Не могу вспомнить какие-либо разногласия между нами. Мелочи не в счет. Мы были всегда в хороших отношениях. Слава любил шутить, это был его конек. Летом мы торчали в бассейне и джакузи в жилом комплексе, где жил наш общий друг Аллен. Слава не стеснялся открыто высказываться, если в чем-то не соглашался или имел по тому или иному поводу свое мнение, отличавшееся от нашего. Он всегда делал это в несколько игривом тоне, что никогда не было оскорбительным. В целом, он был действительно хороший друг и просто очень веселый и легкий человек в общении.

В 7-м классе один парень в нашем классе попытался дразнить и травить Славу. Мой друг был не из тех, с кем можно было так поступать. Однажды в тренажерном зале Слава ударил обидчика, да так сильно, что тот упал. С того дня насмешки были забыты раз и навсегда.

Нас объединяли общие интересы, будь то бильярд и игра на электрогитарах, «русские» вечеринки в близлежащих квартирах, увлечение шахматами, посещение торговых центров и ярмарок и кураж пойти поговорить с незнакомой девушкой.

Слава быстро достигал успеха во всем, чем начинал заниматься. Это было в классе 9-м. Его любимой рок-группой в это время были «Разбитые Тыквы». Так вот, он научился играть их песни и даже подражать шумовым эффектам, тогда как мы застряли где-то на начальном этапе.

Тоже самое было с бильярдом. Мы ходили в университетский центр, где стояли столы. Поначалу мазал он невероятно, как и мы все. Потом дело пошло и очень скоро соревнования прекратились – играть стало не интересно, так как заранее было известно, кто окажется победителем».

Не припомню, чтобы Слава испытывал депрессию. Были периоды в школе, когда он находился в напряжении по поводу оценок или других моментов, но он никогда не терял оптимизм и светлое восприятие жизни. Не будучи отличником, он, пройдя серьезную подготовку как военнослужащий, сумел поступить в Политехнический институт. Я всегда знал, что Слава очень умный, но он не всегда демонстрировал это в школе. Иное дело – вступление во взрослую

жизнь, тем более, имея за плечами офицерскую школу. В то время как многие в его положении могли бы отказаться от колледжа или снизить свои ожидания и критерии, Слава этого не сделал. Это было очень показательно для его характера.

Он говорил мне о том, что хочет стать врачом, и у меня нет сомнений, что он стал бы замечательным профессионалом. Слава верил в свое будущее, независимо от того, что выбрал бы после окончания военной службы.

Я не могу точно вспомнить, где я был, когда Слава женился, но все наши друзья очень удивились его и ее решимости. В те юные ни кто из нас не думал связать себя узами брака. Решительность была у Славы в крови.

...В последующие годы Слава и я общались довольно регулярно в течение лета и во время праздников, когда я приезжал домой из колледжа. У меня нет особых воспоминаний того периода, но мы поддерживали связь, и я всегда знал, где он и чем занимается. После того, как я закончил колледж и мало бывал в Колумбусе, наши встречи стали гораздо реже.

Помню нашу встречу близ Олбани, в городе Трое, где Слава жил в то время, учась в Политехническом институте. Моя мать и я направлялись из Огайо в Бостон, где я собирался начать заниматься в юридической школе. Мы встретились со Славой в какой-то забегаловке на обед, и я наслаждался его компанией в течение часа или около того. Слава приехал туда на мотоцикле, и, вообще, он выглядел очень похожим на персонаж фильма «Тор Гип».

Он и Катрина присутствовали на моей свадьбе в Остине, штат Техас, в 2005 году. Тогда он мне с радостью сказал, что Катрина беременна и родится мальчик.

Снова я увидел Славу в 2007 году на встрече по случаю 10-летия выпуска нашего класса. Мы провели вместе хороший отрезок времени. Я остановился на ночь в доме его родителей Анны и Бориса и получил возможность познакомиться с дивным ребенком Дэниелом.

...Последний раз мы встретились в 2008 году. Я был с женой, а Слава с Катриной. Мы были рады поделиться с ними нашими новостями – моя жена ждет первенца. Кто мог тогда представить, какая судьба ждет моего друга...»

Вот что рассказывает о своей первой встрече со Славой учительница Мэрилин Рофски, ставшая потом его наставницей и другом на много лет.

«Я преподавала английский в классе для новых иммигрантов, и пока его мама занималась языком, Слава учился приемам борьбы тхэквондо (корейское боевое искусство – Авт.). Захотев пить после многочисленных прыжков и выпадов, Славик влетел в мой класс и громко по-русски потребовал у матери 50 центов на соду. Я спросила этого самоуверенного мальчишку, почему он позволяет себе прерывать урок, а не ждет перерыва. В ответ Слава, просияв улыбкой, от которой зажглись озорными искорками его глаза, заявил, что он хочет пить сейчас, а не потом...»

Зная, что многие подростки как бы заранее запрограммированы, чтобы создавать своим родителям проблемы – особенно родителям, которые только недавно приехали в Соединенные Штаты – я предложила Анне, что буду «работать» со Славиком, помогая в учебе; в действительности же, больше делая упор на формирование его жизненных принципов и устремлений, на умение отвечать на вызовы извне. Вскоре я узнала суть характера Славика, поняла его своеобразный девиз – всегда и во всем только ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД.

Начались наши совместные занятия: я выступала как друг семьи и доверенное лицо, что соответствовало реалиям – я действительно по-человечески сблизилась с Зильберманами. На протяжении всех школьных лет, начиная с 6-го класса, мы уделяли достаточно времени для написания различных работ, эссе, не говоря уже о подготовке к экзамену ACT/SAT. В течение всех этих часов, проводимых в библиотеке, я затрудняюсь точно сказать вам, сколько раз Славик настойчиво убеждал меня, почему то или иное предложение сформулировано определенным образом или употреблено именно это конкретное слово.

Но, опять-таки, это был девиз «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД» с всевозможными вопросами, на которые он находил свои ответы. Вопросы, которые он задавал мне, обычно начинались с «почему». Его интересовало буквально все. Такую любознательность я мало у кого из подростков встречала прежде. Вопросы сыпались градом: почему, почему, почему ...

С его безграничной энергией, острым умом и стремлением охва-

тить многое и сразу («ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД»), Славик мог подавлять вас, но, когда на его лице появлялась озорная улыбка, вы не могли устоять, чтобы не улыбнуться в ответ».

...В моем представлении Славик был метеором, прочертившим яркий огненный след. Метеор в переводе с древнегреческого означает «небесный», «парящий в воздухе». Стихией Славика было небо, которому он отдал лучшие годы жизни, всего себя без остатка.

Мэрилин Рофски стала другом семьи Зильберманов на долгие годы.

Эмигрировав в Америку, они, как и другие иммигранты, стали объектом внимания и опеки Еврейского центра. К ним стала приходить милая женщина по имени Дэбби и помогать в изучении английского языка. Они подружились. Дэбби и ее муж Бенни Эйзенштейн однажды пригласили родителей Славика и его самого в гости. Увидев рояль, Славик стал играть ноктюрн Шопена. Хозяева очень удивились, как умело мальчик играл. Расспросили его, узнали, что у себя на родине он учился музыке.

Через несколько дней вечером в квартире Зильберманов раздался звонок. Двое крепких мужчин внесли в дом... фортепиано, а следом вошли Дэбби и Бенни – это был их подарок.

Дети Эйзенштейнов, профессор-лингвист и врач, полюбили Славика. Часто брали с собой в рестораны, знакомили с американским образом жизни, покупали в подарок спортивную одежду.

Дружба с этой семьей у Анны и Бориса исчисляется уже четвертью века...

Любопытная подробность. Однажды школьный преподаватель обратил внимание на группу детей, внимательно прислушивающихся к звукам музыки, доносившимся из одного из школьных залов. Звучал ноктюрн Шопена, играл Славик. С тех пор, по воспоминаниям учителя, это произведение всегда ассоциируется у него с образом Мирослава Зильбермана.

С фортепиано Славик перешел на гитару. Увлечен одноклассников. Играли в бейсменте дома часами. Потом шли наверх, открывали холодильник и доставали заранее приготовленные Анной котлеты. «Мама, не готовь нам больше котлеты», – просил Славик, беспокоясь, что американским друзьям коронная русская еда бу-

дет не по вкусу. А друзья уплетали котлеты с большим удовольствием.

Недаром говорят: если человек имеет к чему-то способности, то он применит их и к другому. Работая в университете, Анна приглашала домой коллег. К ней приходила профессорша с другом-художником. Увидев рисунки мальчика, он подарил ему холст и преподал азы живописи. Славик потом брал телевизионные уроки рисования.

Славик не чурался никакого семейного приработка. Родители хотели, чтобы он лучше понимал цену деньгам, и предложили доставлять газеты (разумеется, с их помощью), для чего приходилось вставать ни свет ни заря. Позже он развозил пиццу. Анна и Борис были против, поскольку это происходило в поздние вечерние часы, но Славик продолжал этим заниматься, поскольку хотел иметь карманные деньги. Первую подержанную машину он приобрел на свои скромные сбережения, и родители ничего об этом не знали. В один прекрасный день прикатил домой на купленной на аукционе машине с плохими тормозами. Права на вождение он получил в 16 лет.

«Славик был увлекающейся натурой, быстро зажигался, – говорит Анна Соколова. – Его манило неизведанное...»

К оценке матери добавлю: есть распространенная категория людей, хватающихся за все и ни на чем не останавливающихся, для них это род игры, увлечения их поверхностны и, как правило, не приносят желаемого результата. Славик был из другого теста – за что бы ни брался, везде хотел преуспеть; притом не стремился обязательно быть первым, ему было гораздо важнее все познать и довести начатое до конца. Его увлечения не мешали ему, не отвлекали от главного, а помогали. И жить торопится, и чувствовать спешит... Это про него, Мирослава Зильбермана.

Окончание – в следующем номере

Давид Гай – известный журналист, писатель. Его перу принадлежат более двух десятков художественных и документальных книг. Среди наиболее известных – роман «До свидания, друг вечный», посвященный истории любви Достоевского и Аполлинарии Суловой; повесть «Телохраниитель» (недавно выпущена в виде аудиокниги); документальное исследование «Вторжение» – о войне, развязанной Советским Союзом в Афганистане; «Десятый круг» – повествование, посвященное Минскому гетто (книга затем вышла в США на английском языке под названием «Innocence in Hell»).

В последние годы в Москве изданы четыре новых книги Давида Гая: роман «Джекпот», сборник документальных очерков о крупнейших авиаконструкторах «Небесное притяжение», роман «Сослагательное наклонение» и 750-страничная сага «Средь круговращения земного...» Изданный в США в 2013 году на русском и английском языках роман-антиутопия Давида Гая ««Террариум» посвящен России сегодняшней и завтрашней. Его новый роман «Исчезновение», увидевший свет в Америке и в Украине, продолжает тему критики авторитарной власти в России.

Иосиф МАНДЕЛЬБРАУТ

«НЕ УБИЙ!»

Еврейская кровь в литовской земле

*К чему слова и что перо,
Когда на сердце этот камень,
Когда, как каторжник ядро,
Я волочу чужую память?*

Илья Эренбург

В человеческой памяти хранятся события, которые вспоминать очень страшно или просто хочется вычеркнуть. Трагедия, произошедшая во время Второй мировой войны, охватила практически всю Европу. Самое большое количество жертв в процентном отношении выпало на долю евреев. До начала Катастрофы в Европе насчитывалось около 9 миллионов евреев. После войны их осталось около 3 миллионов.

Почти у всех евреев, которые выжили, были близкие, родственники, друзья и знакомые, которые погибли. Катастрофа настолько надломилась жизнь выживших, наполнила её страданиями, физическими и моральными муками, что многие потом старались говорить об этой ужасной трагедии либо среди своих близких, либо вообще избегали этой темы, чтобы не бередить душевные раны и безразличие местного нееврейского населения.

Самый большой процент убитых фашистами и их приспешниками евреев оказался в маленькой Литве: 96.7. Именно в этой стране происходило фактически тотальное уничтожение местного еврейства. Речь идёт не только о геноциде евреев Литвы литовцами, но и о жестокости, с которой они их убивали.

Ещё будучи ребёнком, я узнал от своего отца, что почти все члены нашей семьи были убиты в Литве, в том числе моя родная сестра и обе бабушки со стороны отца и матери, а также дедушка – отец моей матери. Это известие было «замуровано» в моей памяти, то есть, я старался избегать его упоминания в разговорах, хотя оно глубоко засело в моём сознании. Моя мать Ида никогда не затрагивала эту тему в моём присутствии. Но когда я перешагнул порог тридцатилетия, то, повинувшись сильному внутреннему импульсу, захотел узнать всю правду. К сожалению, спросить было не у кого, ибо я никак не мог найти живых свидетелей. А те свидетели, которые видели убийства литовских евреев, давали обрывочную и недостаточную информацию, и мне было трудно понять: либо они боялись, либо вообще не хотели об этом говорить.

В силу таких неблагоприятных обстоятельств мне пришлось на какое-то время приостановить многочисленные попытки выяснить подробности гибели членов нашей семьи.

Лишь много лет спустя, перед моей эмиграцией из Литвы (тогда ещё в составе СССР), тётя Полина Цукерман-Шапиро, сестра моего отца Григория, позвонила и попросила о встрече. Она отважилась рассказать то, что скрывала более сорока лет. Она призналась в том, чему стала свидетелем в начале войны, а именно, что видела своими собственными глазами: как убили мою старшую, девятилетнюю сестру Машу и родную бабушку со стороны отца. Это был внешне спокойный, без надрыва и эмоций, рассказ очевидца. Но чувствовалось – тётя каждое слово давалось с невероятным трудом. Я молча выслушал и одновременно был удивлён, что я вдруг оказался рядом с очевидцем и свидетелем трагедии.

«Вот так всё и было», – закончила она.

Моим родителям Полина ничего не открыла, так как не хотела лишать их надежды, которая все годы теплилась у них в душе («а может, Маша всё-таки жива и когда-нибудь найдётся?»). А мне тётя рассказала всё, что видела, лишь через 44 года после окончания войны.

Мой отец, художник-декоратор, выехал из Каунаса в командировку в Москву, захватив жену и меня, шестилетнего, за неделю до начала войны. События на фронте развивались стремительно. Каунас был захвачен 23 июня, 1941, Вильнюс – 24 июня.

Литовцы приветствовали немцев как освободителей от советского режима, рассчитывая на восстановление независимости. Во многих городах в первый же день войны начались организованные вооружённые выступления подпольного в советский период Литовского фронта активистов (ЛФА), которые брали под контроль стратегически важные объекты и целые города, нападали на отступающие подразделения Красной армии и убивали советских активистов. 23 июня в Каунасе была провозглашена власть Временного правительства Литвы во главе с Юозасом Амбразявичусом. В Вильнюсе был сформирован самостоятельный Гражданский комитет Вильнюсского уезда и города во главе с профессором права Вильнюсского университета Стасисом Жакявичюсом.

Немцы не признали Временное правительство и к 28 июля сформировали собственную администрацию в рамках Рейхскомиссариата Остланд. Генеральным комиссаром Литвы был назначен Теодор Адриан фон Рентельн. Территория была разделена на 4 округа с центрами в Вильнюсе, Каунасе, Паневежисе и Шяуляе.

Зная, что нас нет в Каунасе, сестра отца – Полина, пришла за Машей и бабушкой (со стороны моего отца) чтобы забрать их к себе. Ещё не дойдя до дома где жила бабушка, она увидела, как мою сестру ударили головой об стену дома, а бабушку били лопатой по голове. Делали это литовцы. *(После войны стало известно, что, убив двух беззащитных людей, убийцы преспокойно поселились в нашей квартире).*

Моя тётя видела всё произошедшее, не пропустив ни одной детали. По счастливой случайности ей удалось уйти никем не замеченной. Вернувшись к себе домой, она рассказала об ужасе жестокой расправы своим родителям. Спустя неделю после гибели моей сестрёнки и бабушки семья Полины оказалась в каунасском гетто.

Через семь месяцев, весной 1942-го, моя тётя вместе со своей старшей сестрой и подругой бежали из гетто. Скитаясь по лесам и деревням, сами не зная, где они и куда идут, они добрались до польской границы. Их поймали и отвезли в рабочий лагерь Штуттгоф. После освобождения лагеря советской армией в 1945 году выжили только моя тётя и Сара, подруга по побегу.

Полина, поведавшая мне историю убийства Маши и бабушки, преждевременно ушла из жизни год спустя после нашей встречи

(концлагерь подорвал её здоровье), оставив двух прекрасных сыновей.

В её рассказе меня особенно потрясло то, что убийцами членов нашей семьи были не немцы, а «свои» же литовцы, соседи по дому и по человеческому общежитию. Среди этих тихих и якобы миролюбивых литовцев я прожил 55 лет. После того, как я узнал жуткую правду о гибели своей родной сестры и бабушки, у меня возникло желание поближе познакомиться с тем, что происходило в Литве в годы войны. Я прочёл много книг, статей и исследований, посвящённых еврейской Катастрофе в Европе и, в частности, в Литве. Мне также стали известны рассказы очевидцев, литовцев, которые вспоминали всё не как участники, а как свидетели, свидетели молчаливые – участники *невмешательства*. Даже живя с ними под одной крышей, работая с ними в течение многих лет, я не знал истинной правды об убийствах евреев в Литве, ибо официально долгое время считалось, что это было всё делом рук немцев. На фоне собранной информации появилась статистика, ставшая своеобразным остовом, каркасом, скелетом, позволявшим выстроить всю конструкцию происходившего на самом деле.

Всё то, что мне удалось узнать из самых разных источников, сводилось не только к геноциду литовского еврейства руками литовцев, но и к необузданной, пещерной жестокости местного населения в уничтожении сограждан еврейского происхождения.

Перед началом Второй мировой войны в Литве жило около 230-240 тысяч евреев, а общая численность населения страны насчитывала около двух с половиной миллионов. Процент евреев по разным источникам переписей составлял от 8 до 10%.

Еврейская община Литвы с первого же дня войны испытала на себе лютое варварство литовских националистов, важно подчеркнуть – *без особого участия немцев*. Захватчикам не было в этом нужды – черновую работу по уничтожению за них исполняли местные жители. Так началась этническая чистка литовских евреев, приведшая к их почти тотальному уничтожению.

Всего за первые пять месяцев войны в основном литовцами (не немцами!) было убито 180 тысяч евреев. Если вдуматься в эту циф-

ру, становится не по себе – 36 тысяч каждый месяц. Такого чудовищного темпа истребления не знала ни одна страна оккупированной Европы!

С 1942 по 1944 год было убито ещё около 60 тысяч евреев. Среди них около 15-20 тысяч были завезены из других государств. Гитлеровцы знали – в этом вопросе на литовцев вполне можно положиться, не подведут.

Местами наиболее массового уничтожения литовских евреев были: Девятый Форт под Каунасом где было убито около 50 000 тысяч, Панары (Paneriai) под Вильнюсом, где было расстреляно 70 000 тысяч, а также во всех других местах проживания евреев – их более двухсот: городов иместечек. Еврейское население было рассеяно по всей Литве: Вильнюс, Каунас, Шяуляй, Паневежис, Плунге, Молетай и т. д.

Кроме того, литовские отряды участвовали в карательных операциях по уничтожению евреев за пределами Литвы: в Белоруссии, Польше, на Украине.

Как известно, к концу 1930-х годов Коммунистическая партия Литвы насчитывала 3 тыс. членов и евреи составляли около половины (40%). Как утверждали литовцы, они расправлялись с евреями не как с определенной этнической или религиозной группой, а как с коммунистами и советскими коллаборантами. Однако при рассмотрении поближе к статистике, выясняется, что если в предвоенной Литве проживало, напомним, 230-240 тысяч евреев, то общий процент евреев, поддерживавших Советы, составлял всего 0.006% (1,400 / 240 000). Как такое мизерное число евреев-коммунистов могло повлиять на аннексию Литвы СССР? Подавляющее большинство литовских евреев не имело никакого отношения к коммунизму, ибо они были либо глубоко верующими и сионистами, либо занимались своим ремеслом и торговлей, либо вообще индифферентны к политике. **Отсюда следует, что представление об участии литовцев в массовых убийствах евреев было вызвано исключительно просоветской ориентацией последних, не выдерживает проверки фактами. Конечно же, зловещую роль играл антисемитизм, подкармливаемый лживой пропагандой.**

Примечательно, что в пропаганде Фронта литовских активистов (ФЛА) весной 1941 года тема «еврейско-большевистского альянса» уже занимала ведущее положение. В «Инструкции по освобождению Литвы» от 24.3.1941 говорилось: «Нашей целью является изгнание евреев из Литвы вместе с Красной Армией... Литва должна быть освобождена не только от рабства большевиков-азиатов, но и от многолетнего (sic!) еврейского ярма». Евреи продолжали восприниматься как национальный и социальный враг – в духе антисемитских настроений, характерных для Литвы в 1920–1930-х годах.

Антикоммунистический ФЛА был готов простить коммунистов-литовцев; письменные и устные инструкции лидеров ФЛА предписывали не расстреливать литовцев, сотрудничавших с Советами. Наконец, в дни бегства Красной Армии «партизаны» не расправлялись с советской «номенклатурой» (коммунистическими чиновниками-неевреями, назначенными Москвой), а дали ей спастись бегством.

На евреев это не распространялось.

Убивали, грабили, пели гимны

Несмотря на то, что немецкие войска только-только перешли Неман, по всей республике стремительно начала проливаться еврейская кровь. Слово по военному приказу, литовцы совершали массовые истребления безоружных евреев – в том числе беспомощных женщин, детей, стариков. Литовцы во имя осуществления своей цели (и цели немцев-«освободителей») пустили в ход всевозможные варварские средства для умерщвления еврейских жертв. Убивали топорами, вилами, забивали палками, лопатами, дубинками, и другими подручными средствами. Вершение самосуда совершалось чаще всего во дворе или на улице, с тем, чтобы домашние вещи и утварь не были забрызганы еврейской кровью.

В процессе хладнокровного истребления евреев немцы участия почти не принимали. Свидетели этих событий утверждали, что немцев в те дни не видели. «Немецкого порядка» ещё не существовало, комендатуры и прочие атрибуты новой власти ещё не были организованы. И даже когда немцы пришли в те места, где проживали литовские евреи, они в основном умывали руки, стоя в стороне.

Они обратили внимание, что у литовцев (особенно у молодых добровольцев) убивать евреев становилось просто удовольствием, и это считалось абсолютно «легитимным явлением» из-за «предательства и измены» евреев, поддержки ими большевиков, как литовцы объясняли немцам. Удивление немцев возрастало по мере того, как они продвигались по Литве, ибо литовцы не стеснялись убивать евреев на глазах своих же соотечественников, которые с любопытством присутствовали на оргиях зверских убийств.

Когда по Литве прокатились кровавые погромы, их первой жертвой стала еврейская интеллигенция, особенно раввины и студенты ешив. Вот некоторые примеры.

В Вилиямполе (пригород Каунаса) объектом издевательств погромщиков были ортодоксы и вообще евреи с традиционной внешностью (темная одежда, борода).

В Алитусе командир «партизан» потребовал привести к нему раввина и собственноручно его застрелил.

В Биржае первой жертвой был раввин Иеуда-Лейб Борнштейн.

Показательны события в Тяльшае. Этот городок на северо-западе Литвы памятен ввиду двух обстоятельств: здесь находилась знаменитая ешива; а рядом с Тяльшаем располагался лес Райняй, где 24 июня 1941 года, прежде чем бежать из города, НКВД расстрелял 78 литовских политзаключенных.

Немцы вступили в город 25 июня, но аресты евреев и издеательства над ними начались уже 24-го, когда Советы бежали из Литвы. Немцы сначала даже отпустили часть евреев, которых арестовали литовские «партизаны».

Только 27 июня («Страшная пятница») немцы обнаружили массовое захоронение литовских политзаключенных в лесу Райняй. Именно в этот день, утром, «активисты» собрали евреев на площади, построили в колонну по пять человек в ряд, а впереди поставили главу ешивы, р. Авроома-Иццока Блоха. Евреев отвели к озеру Мастис, где «активисты» устроили лагерь. После этого евреев заставили эксгумировать тела, мыть их и перегружать в гробы.

13 июля состоялось захоронение жертв Райняй. На кладбище привели евреев из лагеря, и каждый литовец мог подойти и плюнуть любому из них в лицо. 15 июля расстреляли преподавателей и студентов ешивы.

В Паневежисе первыми жертвами были также преподаватели и учащиеся местной ешивы. Кроме насилия над евреями-ортодоксами, погромщики сжигали еврейские книги и свитки Торы. В некоторых местах раввинов заставляли самих сжигать свитки Торы или плясать вокруг костра со свитками.

В Бутримонисе «партизаны» первым делом собрали евреев в синагоге и заставили их рвать религиозную литературу и свитки.

В Гиркальнисе «партизаны» развернули свитки Торы и устелили ими главную улицу.

У волны массовых убийств летом и осенью 1941 года есть и ещё одна важная причина.

Почти каждое убийство сопровождалось грабежом. *Желание нагнать* являлось составной частью процесса уничтожения литовских евреев. Тащили всё: мебель, ковры, радиоприёмники, золотые изделия, наборы ложек, вилок, ножей, столовые сервизы, серебряные предметы религиозного культа, одежду, включая новые галоши, и много других мелких вещей, даже те, которые не были нужны в хозяйстве. Единственное, чего обычно не брали – книги и картины.

А где были дети погромщиков? А они стояли рядом. Если дети не могли чётко видеть сцены убийств, родители или родственники сажали их на плечи с тем, чтобы те могли «лучше» разглядеть происходящее.

Нужно обратить внимание на моральный аспект поведения совершенно безнравственного большинства литовского населения: не было никакого протеста, никакого возмущения, не было даже никакого сочувствия, а было либо радостное, либо спокойное созерцание трагедии. Иными словами, оказывалась моральная поддержка убийцам в преступлениях против человечности. Конечно, находились литовцы, испытывавшие ужас и стыд за открыто творимое их согражданами, но они молчали, не имея возможности повлиять на происходящее. Таких было слишком мало...

Часто оргии убийств сопровождались или завершались хорошим пением литовского национального гимна или патриотическими песнями.

Зрителями подобных сцен истребления литовских евреев были

представители всех слоёв общества, как молодые, так и пожилые. Приходится констатировать неумолимый факт, что во время войны Литва была, пожалуй, единственным местом в Европе, где евреев истребляли в открытую и на виду у всех. Даже в Белоруссии, Латвии, Эстонии, Польше, на Украине где также свирепствовал зоологический антисемитизм, местное население не принимало такого массового участия в качестве зрителей расправ.

Антиеврейские погромы и облавы начались буквально сразу после начала войны.

Первая волна убийств литовских евреев началась 24 июня: литовские националисты, возглавляемые членом Фронта литовских активистов (ФЛА) журналистом Альгирдасом Климайтисом, устроили трёхдневный еврейский погром в Каунасе, в результате которого погибли 4000 человек.

Раввин Эфраим Ошри описал один из еврейских погромов в Каунасе, где добровольцы с варварской жестокостью расправились с раввином района Слободка по имени Залман Осовский. Литовские палачи привязали его к стулу, затем на его голову положили открытую Гемору (Талмуд) и после чего отпилили ему голову на глазах жены и детей, а голову выставили на публичное обозрение с надписью: «Это то, что мы сделаем со всеми евреями».

В каунасском гараже «Летукис» на евреев пожалели пуль – их умерщвляли, вставляя в рот шланг и накачивая потом воду... Вода разрывала несчастных.

Как было упомянуто выше, в Литве убивали евреев везде, как в больших городах, так и в местечках. Литовские палачи XX-го века делали то, что делали в своё время палачи в Средние Века в период свирепствующей инквизиции, когда казни совершались на эшафоте на глазах толпы. Неслыханную жестокость проявлял Альгирдас Антанас Павалкис. Он лично умерщвил железной дубинкой 68 невинных евреев. Кровавая месть Павалкиса была «мотивирована» тем, что его родственники были отправлены в Сибирь якобы «по вине евреев».

Вот как описывает немецкий полковник Лотар фон Бишофсхаузен произошедшее на его глазах.

«Посреди площади стоял среднего роста блондин, устало оперев-

ишь на тяжёлую деревянную биту. У его ног лежали 15-20 убитых или умирающих людей. Из шланга текла вода, смывая кровь в канализационный люк. Недалеко, под охраной нескольких вооружённых гражданских лиц, ожидали казни ещё примерно 20 мужчин. Одного вытолкнули в середину круга, его тут же забили до смерти. Каждый удар сопровождался возбуждёнными выкриками зрителей. Наконец, убили всех. Блондин взошёл на гору трупов и заиграл на гармошке. Зрители запели литовский гимн. Как будто эта смертельная оргия была событием национального значения».

Тот же самый немецкий полковник был настолько поражён увиденным зрелищем, что описал его следующими словами:

«...то, что произошло в Каунасе, является самым отвратительным из всего, что мне довелось видеть в течение двух мировых войн. На глазах у всех, на улицах и площадях города литовские «партизаны» убивали согнанных на одну бензозаправочную станцию евреев и убивали их сотнями – одного за другим».

Весьма убедительной выглядит фотография, сделанная немецким солдатом-фотографом Вильгельмом Гунзилиусом. Во время акции самосуда он услышал хоровое пение: *«...стоявшие около меня люди объяснили мне, что мелодия, которую он [убийца] играет на гармонии, – литовский гимн. Поведение стоящих вокруг гражданских лиц, среди которых были женщины и дети, было невероятным, после каждого удара ломом они аплодировали...»*

Как объяснить извращённое поведение литовцев, их пещерную жестокость, которая не должна быть свойственна европейскому, верящему в Христа, народу? То есть, уничтожать другую человеческую жизнь без комплексов, без сожаления и чувства сострадания, полностью отвергнув человеческую мораль.

Как объяснить, что произошло в религиозном обществе (за год нахождения в республике Советы не могли, естественно, поколебать христианскую веру, скорее, наоборот – люди ещё больше проникались верой в противовес новому режиму)?

Почему они молниеносно превратились в безжалостных убийц, насильников, грабителей, зрителей варварских убийств, и всё это сопровождалось молчаливым согласием общества?

Подобная жестокость, вне всякого сомнения, сопоставима с

жестокостью диких племён, которых не коснулась цивилизация. Когда идёт речь о массовом насилии и тотальных убийствах (в любом виде) детей, женщин и стариков, то это означает, что необходимо проанализировать причины, откуда возникла такая жестокость.

Всё это – сложные вопросы, но они, тем не менее, требуют ответа.

Литовский народ, с моей точки зрения, был лишён настоящей элиты. В этом нет ничего удивительного, ибо три четверти населения было крестьянским. Культура в Литве только зарождалась (и очень поздно), а литература как таковая ещё не сложилась, печатных изданий было немного. Хотя Литва и двигалась вперед довольно быстро в период между двумя мировыми войнами, экономика была по-прежнему аграрной и отсталой, и высший слой литовского общества был крайне малочисленным. Элита – это лицо государства и цвет нации. Её представителями являются влиятельные (и обычно получившие образование в престижных университетах) члены общества, которые направляют и формируют общественное мнение, выбирают определённую идеологию и преследуют конкретную долгосрочную цель. В этимологическом смысле элита (слово из французского) означает *избранный*, в данном случае, *избранная* (то есть, лучшая) часть общества и её роль – принимать сложные решения, которые определяют и настоящее, и будущее страны, то есть, её судьбу. Элита обладает определёнными особенностями и характерными качествами, выделяющими её из общей массы. Одним из самых главных качеств и достоинств элиты является умение стратегически мыслить, в частности, смотреть далеко вперёд. Американский биохимик лауреат Нобелевской премии Альберт де Сент-Дьёрди охарактеризовал элиту такими словами: «Разум – это лучшая разновидность когтей и клыков».

К сожалению, литовская верхушка (правительство, католическое духовенство, интеллектуалы, прежде всего, писатели и журналисты), в значительной мере впитала в себя нацистскую пропаганду Германии. Она методично и систематически, с маниакальным усердием разжигала национальную ненависть по отношению к еврейским согражданам. Более того, литовская элита активно поощряла на преступления местную молодёжь. Матери не закрывали глаза де-

тям во время многочисленных сцен убийств евреев, таким образом, растлевая их психику и не подозревая, какие пагубные последствия возникнут в их дальнейшем развитии.

Сам факт использования литовской молодёжи, включая детей в качестве зрителей убийств – абсолютно чудовищен. Такого проявления беспощадной жестокости не было ни в одной стране Европы. Даже в нацистской Германии не убивали в открытую, а в возведённых лагерях вдали от глаз местного населения, и только в Литве это было нормой. Вне сомнения, такое бесчеловечное поведение бóльшей части общества, подстрекаемое литовской верхушкой, явно свидетельствовало о сильном отставании в интеллектуальном и духовно-нравственном развитии в понимании моральных устоев, на которых зиждется цивилизованное общество.

И не приходится удивляться, что послевоенное поколение литовцев переняло и сохранило юдофобство. Как писал С.Альперавичус в книге «Русские пленные на территории Литвы», «это поколение (т. е. видевшее войну) передало ненависть к евреям своим детям, а затем и детям своих детей. **Поколение убийц передало будущему, что убийство евреев не является аморальным и наказуемым.**»

Религиозные лидеры Литвы также внесли позорную и бесславную лепту в решении еврейского вопроса. В своих выступлениях они не брезговали проповедями против евреев. Архиепископ Юозепас Сквирецкис, епископ Винцентас Бризгис использовали своё влияние среди своей паствы в разжигании ненависти к евреям. Они всецело поддерживали расовую гитлеровскую пропаганду с целью очищения от евреев. В качестве примера можно привести выступление по каунасскому радио (при полной поддержке литовского католического духовенства) в момент нападения немцев на СССР Юозаса Амбразявичюса, в то время глава Временного Правительства Литвы: «Литва благодарит освободителя Европы Адольфа Гитлера.., а что касается евреев, то тема эта будет исчерпана...»

В августе 1941 года епископ Бризгис встретился с ксёндзом из Крокской волости и узнал, что в тамошнем гетто все ещё много евреев. Он возмутился: «Почему же они до сих пор не расстреляны? Евреев нечего жалеть, они этого не заслужили». Услужливый ксёндз

передал слова Бризгиса по назначению, и через пару дней все узники местного гетто были уничтожены.

Роль Бризгиса в организации погромов в Каунасе была отмечена в докладе шефа полиции безопасности и СД Литвы Карла Йегера от 16 августа 1941 года.

Таким образом, некоторые католические священники были прямыми сообщниками в разжигании звериного антисемитизма, который закончился для евреев трагически.

Религия, смешанная с политикой, отбросила не устоявшиеся в сознании большинства литовцев моральные заповеди на задний план. Ярким примером последнего является священник Юстинас Лелешюс и его друг, тоже священник, Антанас Илюс. Оба боролись с большевиками. Оба принимали физическое участие в убийстве евреев. Лелешюс отличился садистской жестокостью, лично расстреливая евреев в Девятом Форте.

За сопротивления большевикам он в 1998 году посмертно награждён Орденом Большого Креста. Антанас Илюс тоже был посмертно награждён Орденом «Крест Витиса» 1-й степени.

Как это не выглядит странным, непонятным и непостижимым, преступления Лелешюса и Илюса в отношении евреев не учитываются.

Праведники мира

В то же время в аду, царившем в Литве, находились смельчаки, которые рисковали своими жизнями, спасая евреев. Человеческое перевешивало, сострадание, в том числе христианское, позволяло оставаться людьми. Обвиняя тысячи в преступлениях против человечности, мы обязаны воздать должное мужеству немногих спасителей тех, кому, казалось, ничто не могло помочь.

На 1 января 2016 года в Литве насчитывалось 889 человек, которым за спасение евреев Институтом Катастрофы и героизма Яд ва-Шем было присвоено звание Праведник народов мира. Необходимо подчеркнуть, что среди праведников мира более 100 человек польской и русской национальности, населявших Литву.

По числу Праведников Литва занимает шестое место после

Польши, Нидерландов, Франции, Украины и Бельгии. Относительно же численности населения Литва – на втором месте среди европейских стран, оккупированных немцами в годы войны.

В этой связи уместно напомнить не подвергаемый сомнению тезис – не бывает коллективной вины народов за содеянные преступления. Не бывает!

Вот что по этому поводу говорил недавно скончавшийся Эли Визель, бывший узник нацистских концлагерей Освенцим и Бухенвальд, писатель, журналист, общественный деятель, лауреат Нобелевской премии мира: «Я не верю в коллективную вину!.. Потому что я слишком хорошо знаю, что значит быть народом с клеймом коллективной вины. Виновны только люди, которые способствовали тому, чтобы евреев избивали, унижали, везли в концлагеря, расстреливали, сжигали в печах, те, которые убивали евреев. Они – преступники. Но вот их дети – невиновны. Но они ответственны за то, чтобы сохранить память о том, что происходило».

Да, коллективной вины народов не существует. Однако были и остаются чёрные силы, считающие, что такой народ есть, и называется он еврейский народ.

Послушаем тех евреев, кого спасли литовцы.

Таня и Хаим Ипп находились в начале 1944-го года в Каунасском гетто. Их друг из гетто Шамес рассказал им об одном литовце по имени Йонас, желавшем спасти евреев. Выяснилось, что к тому времени Йонас уже укрывал четырехлетнего сына Шамеса и сейчас захотел забрать к себе и родителей мальчика. У литовца Йонаса было одно удивительное условие: Шамес должен найти еще евреев, которых Йонас сможет спасти.

Таня Ипп рассказывает:

«Поначалу мой муж сомневался насчет этого, потому что не мог никому предложить денег. Все, что нам когда-то принадлежало, было отнято. Мой муж не мог даже помыслить о том, что литовец способен на такое только ради спасения еврея. Но Йонас проявил себя как человек совершенно неординарный. Человек, которого встречаешь крайне редко – честный, порядочный, уверенный в себе и бесстрашный. Он фактически подвергал себя и свою семью смертельной опасности. Он был нам как отец - человек, которого нужно ценить».

Муся Гершенман, уцелевшая благодаря Йонасу, описывает место, в котором он укрывал евреев:

«Убежище было построено как спальный вагон поезда. В проходе он поставил маленький столик, а над ним повесил карту Европы, чтобы можно было следить за положением на фронтах. Йонас принес также аппарат с наушниками, который ловил радио, и так можно было слушать местные новости. Стены обшил досками... Каждый день он приходил и менял ведро, в которое справляли нужду восемь человек! Размер убежища был 8.5 квадратных метров. Там нас находилось восемь человек в течение многих месяцев, а под конец стало 10 человек, и никто из нас ни разу не выходил наружу».

Муся рассказывает, что каждый день Йонас спускался к ним «и оставался почти на всю ночь беседовать с нами, и так на протяжении большинства ночей... Он рассказал, что решил снять для своей любимой дочери Дануты комнату в Каунасе, так что если нас обнаружат, то хотя бы она останется в живых. Он хорошо осознал риск, которому себя подвергал, и понимал, что с ним может случиться»..

Еще один мужественный человек – комендант пионерского лагеря в Друскининкай Стасис Свидерскис, которому в июне 1941 года был 20 лет. В лагере находились больше семидесяти еврейских детей от шести до тринадцати лет. Их нужно было во что бы то ни стало спасти.

Это сегодня, когда с той поры прошло 75 лет, мы знаем о подвиге Януша Корчака, о списке Шиндлера, о Рауле Валленберге. А тогда...

22 июня Стасис Свидерскис кинулся на железнодорожный вокзал. Нашел двух машинистов. Говорил с ними открыто: вы вывозите детей, я вам отдаю ключи от всех лагерных построек. Ударили по рукам. Железнодорожники просили лишь об одном – погрузку произвести в стороне от вокзала, в лесу. Дети ничего не знали, им не сказали про войну, дабы не сеять панику. Но послеобеденный сон пришлось прервать – воспитатели объявили, что лагерь отправляется в туристический поход, просьба получить на складе продукты питания.

Поезд тронулся... Поначалу поехали в сторону Гродно. Но, увидев клубы дыма над городом, машинисты повернули на Вильнюс.

Дети, дотоле еще не покидавшие своих родных, уезжали в никуда. Особенно тяжело было самым маленьким. Старшие, как могли, шефствовали над малышкой, утешали их, хотя у самих кошки на душе скребли.

Состав бомбили и обстреливали. Затем стал мучить голод. Сви-дерскис на остановках добывал хлеб, кипяток. Этим и питались. И еще надо было объяснить детям, почему был прерван отдых и зачем их увозят от родных. Требовалось большое педагогическое мастерство, любовь и чуткость. Миссия Стасиса Сви-дерскиса, спасавшего детей из оккупированной нацистами Литвы, продолжалась.

Пока поезд медленно продвигался по просторам России в сторону Урала, пропуская многочисленные воинские составы на фронт, в Литве началось массовое уничтожение евреев. Но об этом маленькие пассажиры поезда не знали. Не знали они и о том, что, скорее всего, больше никогда не увидят родителей.

Поезд шел на восток и остановился на станции Сарапул – небольшом городке в Удмуртской автономной области. Литовских детей поместили в доме отдыха.

Осенью появились проблемы: в доме отдыха не топили, нужна была зимняя одежда, неясно было, на каком языке вести учебу и т. д. Сви-дерскис отправился пешком в столицу Удмуртии – город Ижевск. Там добился приема у начальства и получил право переехать из Сарапула в село Шарканы, где находился детский дом, населенный местными детьми. Решено было создать две группы, где занятия проводились на литовском и на идиш.

Вскоре учителя Блох, Коган, Меюнский и сам Сви-дерскис были призваны в ряды Литовской дивизии. Только двое из них вернулись назад – Блох и тяжело раненный Сви-дерскис. Коган и Меюнский погибли в боях под Орлом.

Возвратившись с фронта, Сви-дерскис возглавил детский дом, который к тому времени расширился за счет детей, выживших после разгрома лагеря в Паланге, и беспризорных ребят из Литвы. Но основной костяк составляли беглецы из Друскининкая.

В конце 1944 года все воспитанники возвратились в Литву. Но дома почти никто из еврейских детей не нашел своих родителей и близких – они были уничтожены...

Покаяние – искупление

*И это вот что означало:
Все человечество кричало
И в исступлении звало
Избыть содеянное зло.*

Вольфрам фон Эшенбах
(Перевод Л. Гинзбурга)

Покаяние – это чувство вины за содеянные преступления, в нашем случае – за преступления, совершённые литовцами по отношению к евреям. Покаяние – это глубинное и нравственное понимание, исходящее из внутреннего осознания, что было совершено страшное преступление, которое крайне необходимо признать. И не только для того, чтобы избавиться от собственного греха и смыть позор. Основной смысл покаяния заключается в твёрдой и непоколебимой решимости раз и навсегда покончить с ужасным прошлым, никогда не забывать его, чтобы сделать невозможным его повторение.

Прекрасным иллюстративным примером является Германия. У немцев исправление исторических ошибок в связи с преступлением против человечности началось без промедления. Надо отдать должное немцам, что они и впредь идут по тяжелейшему пути исправления и очищения через покаяние, которое длится по сию пору. Страна уже проделала колоссальную работу в этом направлении: имеет дружественные отношения с Израилем и старается восстановить еврейскую общину до уровня, который был перед приходом к власти нацистов, когда в Германии насчитывалось полмиллиона граждан еврейского происхождения. При открытии памятника Холокосту в Берлине было объявлено, что преступления против евреев не имеют срока давности.

А что же литовцы? Какие усилия предприняты в стране?

Литва в общем и целом пытается минимально затрагивать болезненную тему Холокоста. К большому сожалению, в литовском обществе до конца не осознают свою вину и пытаются либо скрыть ее, либо оправдаться недостойными средствами (типа, во всём виноваты сами евреи и «нам нечего перед ними оправдываться и от-

читываться»). Многие дети, которые смотрели на плечах своих родителей или родственников на оргии убийств литовских евреев во время Второй мировой войны, став взрослыми, и сегодня смотрят на антисемитизм как на «закономерное» явление.

Справедливости ради отметим: некоторые высокопоставленные литовцы всё же предприняли попытки покаяния перед евреями. Одним из первых, кто сделал шаг в этом направлении, был президент страны Альгирдас Бразаускас, который посетил Израиль в 1995 году. Он выступил в Кнессете с речью, принеся извинения за позорное участие литовцев в почти тотальном истреблении литовского еврейства. Израиль принял его извинения. Однако по возвращении Бразаускаса литовская пресса ополчилась на него за это извинение. Средствам массовой информации казалось, что Бразаускас подпал под «влияние еврейского лобби», что на самом деле было очевидной неправдой. **Тем не менее, негативная реакция со стороны многих литовцев (прессы, политиков и уличной толпы) чётко проявила уровень юдофобства, унаследованный ещё со времён Второй мировой войны.**

В апреле 2015 года, в Вильнюсе на Ратушной площади была организована акция памяти Холокоста (Шоа). Участниками такого нерядового события было свыше 600 литовских школьников. Они образовали живую цепь звезды Давида (Магендовиды). Во время этой процессии каждый школьник взял себе еврейское имя, указав его на приколотой к груди жёлтой звезде Давида на латке, что является очень трогательным поступком. Кроме того, детский хор исполнил на ступенях Ратуши еврейский псалом на иврите. На церемонии также выступила с короткой речью пережившая Холокост 93-летняя Фаина Бранцовская. Внешне мероприятие, посвящённое поминанию погибших, выглядит очень волнующе красиво.

Проведение акции памяти является безусловно важным событием. Однако, подобного рода мероприятие – это больше формальность. **Эти дети до сих пор не осознают, что многие их бабушки и дедушки с лёгкостью убивали евреев.** Как справедливо отметила Фаина Куклянски, председатель Литовской общины евреев (литваков), «историю евреев Литвы, которую уничтожил Холокост, ни одно из литовских правительств так и не решилось включить в школьные просветительские программы. И многие обещания так и остались лишь проектами».

«Я выполнила свой долг перед Родиной»

Совсем недавно была предпринята очень серьёзная попытка осмыслить Холокост литовских евреев глазами собственно литовцев. Осуществить эту сложную задачу решила писательница Рута Ванагайте (Rūta Vanagaitė) в своей книге «Наши» («Mūsųškiai»), которая вышла в январе 2016 года. Вне сомнения, эта книга является первым положительным шагом в признании правды, какой она была, из уст самих литовцев (и автор это подтвердила, опираясь на подлинные архивные документы).

В книге приведены откровенные рассказы и исповеди, собранные Рутой Ванагайте по всей Литве: ещё живых участников убийств евреев, ещё живых свидетелей и их личное отношение к тем трагическим событиям. Автор описывает, как молодые, неграмотные литовцы в трезвом состоянии прилежно убивали евреев. В убийствах добровольно участвовали и школьники, а Церковь равнодушно наблюдала за Холокостом – убийцам даже отпускали грехи.

Значимость книги «Наши» заключается в том, что исследования, проведённые автором, полностью опровергают общепринятую официальную версию, которая утверждает, что литовцы в большинстве своём непричастны к истреблению литовских евреев и что, мол, это дело рук немцев. Заслуга Ванагайте состоит в том, что она ясно и без обиняков дала понять, что ты, литовец, хотя и был жертвой (большевиков), на самом деле ты был гораздо больше жестоким палачом по отношению к литовским евреям, нежели жертвой коммунизма. Писательница досконально развеяла миф о невинности литовцев в геноциде против евреев.

Ввиду того, что живым свидетелям и исполнителям убийств уже очень много лет, Ванагайте справедливо заметила, что у неё представилась последняя возможность рассказать своему народу правду. Как автор выразилась: «если не я, то кто? А если не сейчас, то когда?». Я всецело с ней солидарен.

Известный охотник за нацистскими преступниками Эфраим Зурофф сказал: «Нигде в мире не пытаются так тщательно замаскировать неприглядные страницы своего прошлого как в Литве. В Литве стремятся переписать историю, чтобы представить себя невиновными».

Реакция на книгу «Наши», ставшую бестселлером, была абсолютно предсказуемой: громадное негодование и скандал. Одни обвиняли автора в работе на Кремль, другие предполагали, что «работу оплатили евреи». Документированная правда, увы, чересчур задела и покорибила национальное достоинство литовцев. Часть друзей перестало с Рутой Ванагайте (с её слов) общаться. Гипертрофированное чувство национальной гордости не принимает критического анализа и лишает здравого смысла в оценке неприятных исторических событий, которые замалчивать нельзя.

В июне 2016 года в Сейме Литвы состоялась дискуссия, посвящённая 75-летию самой болезненной теме в истории Литвы – началу массовых убийств евреев в годы Второй мировой войны и роли литовцев в преступлениях против еврейского народа. В дискуссии приняли участие видные политики и историки.

Авторитетный литовский историк Альфредас Рукшенас, сотрудник Центра исследований геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ) подчеркнул, что убийцами должны считаться не только те, кто стрелял, но и те, кто охранял, сдавал и выступал в роли пособников гитлеровскому режиму.

Общее количество убийц евреев может превышать 6 тыс. человек. «Убийцами евреев можно считать всех участников операции, даже если они и не нажимали на курок, но они создали условия для проведения этих операций», – сказал Альфредас Рукшенас. *(Риторический вопрос Рукшенасу: «А как на счёт тех, кто созерцал и радостно аплодировал? Ведь большинство в толпе всецело поддерживало убийц и пело национальные песни после каждого убийства»).*

Эксперты сошлись на том, что инициатива геноцида лежит на немцах, а литовцы лишь исполняли поставленную задачу оккупантов, однако ряд зарубежных специалистов утверждают, что такой вывод – лишь попытка получить индульгенцию и откреститься от болезненного прошлого. Действительно, с таким подходом вся суть дискуссии оказалась бессмысленной.

Депутат Сейма Эмануэлис Зингерис и директор Центра еврейской культуры и информации Альгис Гурявичюс утверждают, что если не провести расследования об исполнителях Холокоста,

то представителей литовского народа навеки заклеят убийцами евреев.

И вот обнадеживающее сообщение: в марте 2016 года Генпрокуратура республики заявила о начале расследования в отношении граждан Литвы, причастных к Холокосту.

Иосиф Мандельбраут родился в 1935 году в Каунасе в семье художника-декорратора. Во время Второй мировой войны жил в эвакуации в России. После освобождения Литвы от фашистов вернулся с семьей в Вильнюс.

По образованию горный инженер. Работал на стройках в Литве, а также в НИИ в Киеве. В Академии наук Литвы занимался вопросами экологии.

В настоящее время живет в США.

Его перу принадлежит недавно вышедшая в Америке сенсационная книга «Не убий!», отрывок из которой опубликован в этом номере журнала. Эта книга – первая на русском языке, приоткрывающая завесу над зверствами, чинимыми в годы войны местным литовским населением над евреями.

**Заказать книгу Иосифа Мандельбраута «Не убий!» можно, связавшись с автором по электронной почте:
josmandel@gmail.com**

Марк ВЕЙЦМАН

ЗОЛОТОЙ ВЕК

Крепость крестоносцев

Летописцы не врут
О жестокости в крупных масштабах
Не считавших за труд
Умерщвлять беззащитных и слабых.

И хотя уже мох
Казематы покрыл и бойницы,
Но меж наших эпох
Нет доселе надёжной границы.

И мерзавец любой
Точно так же стремится донине
Выходить на разбой,
Прикрываясь любовью к святыне.

Песня юности

Пусть музыка – хрень,
А слова – барахло.
Но в сердце апрель –
Повезло!

В пустом оперблоке,
На всё положив,
Споёшь караоке –
И жив!

Действующие лица

Дедка любит репку,
Бабка – деруны,
Внучка любит секту
«Дети Сатаны»,
Где считают лишним
Нижнее бельё.
Кошка любит мышку.
Каждому – своё.
Мышка-невеличка
Гадит за двоих.
Жучка-истеричка
Лает на своих.

При контактах с инопланетянами
Надо помнить одно обстоятельство:
Они чувствуют на расстоянии
Даже лёгкое недоброжелательство.

На него их системы защитные
Реагируют автоматически,
Так что, злые, хотя бы и скрытные,
Вы, считай, уже трупы фактически.

Так давайте-ка сменим заранее
По рецепту уфолога Мирского
Агрессивную мину пирании
На улыбку котяры чеширского –

И враждебность, как насморк, излечится,
И репейник окажется розою,
И грядущая жизнь обеспечится
Постоянною смерти угрозой.

Туристочкам восторженным под стать
Записочки Создателю писать
И впихивать в пазы ограды Храма
Пристало ли потомкам Авраама
И Якова, тем более, что в них
Есть что-то от фальшивых накладных
И слёзных профсоюзных челобитных
По поводу путёвок дефицитных?

Неужто нет у нас иных путей,
Чтоб вырваться из матовых сетей,
Досадные осилив передраги?
Зачем же, изнурённый и больной,
Торчишь ты перед Западной стеной
И пальцы тянутся к перу, перо – к бумаге?

В палате, в коей две кровати,
Вторая нынче вновь пуста.
Каких событий в результате
Освобождаются места,
Не надо знать.
Когда же место
Освободится и твоё,
С него таким же точным жестом
Сорвут постельное бельё.

Космос

Астронавт взглянул на Солнце,
Вздрогнул и вспотел:
Перед ним кружились сонмы
Обнажённых тел,

Вниз влеклись, вздымались круто,
Мчались по кривой,
Но не гибли почему-то
В бездне огневой.

Ни прибегнуть к алкоголю,
Ни в безумье впасть
Астронавту не позволю,
Потому что – Власть.

Заявлю, что плазмы выброс –
Просто некий тест.
Сообщу, что Б-г не выдаст,
А свинья н съест,

И что мы пребудем весте
Много лет и зим.
И что лично он бессмертен
И неуязвим.

Интернационал

Щоб нэ бигала до гаю
З Ривкиным жидочком,
Приська донэчку шмагае
Довгым батижочком.

Ривка тоже не в восторге:
За амуры с гойкой
Лупит отпрыска по морде
Польской мухобойкой.

Обе ищут доказательств
Длительности срока,
А на ярмарках издательств
Спрашивють Спока*.

* *Спок – автор книг о воспитании детей.*

Любовь не называется «привязанность»,
Коварство не вменяется в обязанность,
Азарт не переходит в безразличие,
Ничтожество не сходит за величие,
Заветные мечты не забываются,
Неправедные планы не сбываются...
За то, чтоб не увял цветочек аленький,
Давай махнём, Чудовище, по маленькой!

Марк Вейцман, поэт, прозаик, эссеист, родился и вырос в Киеве.

Образование – физико-математический факультет пединститута и Литинститут им. Горького.

Отсчёт своих литературных занятий ведёт с 1966 года, когда его стихи, подвёрстанные к «Бабьему яру» Анатолия Кузнецова, были опубликованы в «Юности».

Автор полутора десятков книг для взрослых и подростков, увидевших свет в Москве, Киеве, Иерусалиме и многочисленных журнальных публикаций.

Лауреат нескольких литературных премий.

Некогда состоял в СП СССР. Ныне – член Федерации писателей Израиля и Международного ПЕН-центра.

Эллайда ТРУБЕЦКАЯ

**РАЗДУМЬЯ ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ...
И О ЖИЗНИ И ЛЮБВИ**

Всё в прошлом: брошенный мной дом,
поруганность мечты, рука с карающим мечом,
державность темноты, невежд налитый ядом крик,
страх боль не пережить, заплеванной святыни лик –
веками не отмыть.

Всё в будущем: тот тронный зал,
награды и почёт, цветами убранный вокзал
и подведённый счёт, признание в иных мирах,
благопристойный вид, чеканность профиля в горах,
забвение обид.

А в настоящем – ничего: ни радости, ни слёз.
Инертное твоё «всега», ненужных встреч мороз.
Курьёзный, не к добру роман – за жизнь не прочитать...
И горько-сладостный дурман, что не даёт мне спать.

Я с одиночеством своим на «ты» –
оно мне дарит первые цветы,
звонит, когда не сплю я по ночам,
подбадривая гладит по плечам.
Вокруг огромный город. До зари
немыслимое держим мы пари:
о, как меня он хочет победить –
любить заставить, о другом забыть.

Хороший город – здесь поэт в чести,
но путь тернист и тяжело крест нести.
Великий город, только жаль – чужой,
меж мной и юностью он лег межой.
А раньше в белую бросалась ночь,
другой мне город так хотел помочь:
стихи мои на площадях читал,
корабликами по Неве пускал,
напоминал забытые слова,
поддерживал, когда была права,
и, сколько у него хватало сил,
молчал и на меня не доносил.
Обычай благородных городов –
беречь поэтов от цепей оков,
давать приют среди земных тревог...
Но Боже, скольких он не уберег!
Меня ж он спрятал в утрений туман.
У нас, признаюсь, дивный был роман...
Но дождь неважный оказался сват -
в скрижали занесут «сестра и брат».
Я чашу счастья выпила до дна.
В Америке скромна и холодна,
с одним лишь одиночеством на «ты»...
Оно приносит первые цветы.

Калейдоскоп событий в цвете красном.
Живу, как в затяжном прыжке опасном.
Кручу назад – зелёный вижу цвет.
Там – молодость, но нас в помине нет.
Скорей вперёд – танцуют жёлтый с рыжим.
Не всем судьба меж Дели и Парижем.
А в фиолете: взрыв, удар, распад,
дорога в рай, ступеньки прямо в ад.
Вперёд, назад без устали верчу я.

Всю раздаю себя, других врачую.
Не полон спектр. Где синий с голубым?
И нужно ль жить, когда ты нелюбим?
Ещё виток – всех красок свистопляска.
Жизнь, словно сон. Несбывшаяся сказка,
Надежд, падений, взлётов кутерьма...
Как в вихре этом не сойти с ума?
Хочу спастись, но крепко держат сети.
У всех в долгу. За всё всегда в ответе.
Шальная мысль всё чаще бьёт в висок,
что не живу, а отбываю срок.
Калейдоскоп о камень – всё распалось,
хоть потерпеть осталось только малость...
И лишь боюсь, что ты прервёшь полёт,
когда убьёт меня жизнь-дура влёт.

Мы не живем – витаем в поднебесье,
Не понимая, что произошло.
Все ждем, чтобы прозренье снизошло,
Разбросанным по городам и весям.

Растерянным и потерявшим веру,
Забывшим, для чего мы рождены,
Изгнанникам из мачехи-страны,
Наславшей на детей своих холеру.

Хоть правила игры довольно строги,
Всевышний все давно решил за нас.
Немыслимо не выполнить приказ,
Снискать прощенье, заплатив налоги.

Душа саднит и в кровь разбиты ноги,
Не разбирая ночь теперь иль день,
Идем вперед, свернуть нам просто лень,
По той, что в никуда ведет дороге.

Забыв о том, кто ключ к судьбе вручал...
И что любовь начало всех начал.

В том мире, где поэт так одинок
Средь общей вакханалии злословья,
Где жизнь проходит, как дурной урок
Под топот, свист и даже сквернословье,
Туч пляска не к дождю и не к деньгам,
И дети матерей-отцов забыли,
В родильном зале грязь и шум, и гам,
И сапогом на совесть наступили,
Отравлены и пища и вода,
И осенью противно, как и летом,
Порядочности нету и следа,
И тьму шутиливо кличут «белым светом»...
Пытаюсь утром с нужной встать ноги,
чтоб ближнему - улыбка рикошетом.
И наплевав на правило «не лги»,
Бездарность называю вслух поэтом...
Но застревают лживые слова
И тошнота до горла доползает.
Средь нечистот – пышнее трын-трава...
И глубже в спину нож мне друг вонзает...
О как же нужно жизнь боготворить,
чтоб зло с добром пытаться примирить.

Бесценна жизнь и этим ценна.
Живой поэт стоит на сцене.
И замер зал в одном дыханье,
Как будто он причастен к тайне.
О, сколько слов! О, как их мало!
Я их растила, одевала,
Рассказывала им про Музу,

Водила к Чаплину, и к Крузу.
 Они – воспитаны, учтивы,
 умны, скромны, благочестивы.
 Препедают их в школе детям,
 передают другим столетьям.
 Лелею их. Они ж бунтуют,
 Покой претит им, паникуют.
 «Оковы прочь! Дашь свободу!..
 Скажи, что думаешь уроду.»
 Я ж от политики сбегаю.
 Любовь, природу воспеваю.
 Мне цензор – лучший «друг», и все же,
 слова любимей и дороже.
 И вновь не так, не то пишу я.
 Невыносимость не тушуя,
 пытаюсь тьму не путать с светом,
 к властям не бегать за советом.
 Пишу, но мыслям в строчках тесно.
 Замесит тот, кто сможет, тесто...
 А я слова маню украдкой
 красивой ручкой и тетрадкой.
 Но вырвавшись теперь из плена
 И точно зная – жизнь бесценна,
 Они ушли бродить по свету,
 Даря другим мои рассветы.

Шекспир. Сонет № 66 (попытка перевода)

Мне жизнь ужасна. Что гримасы смерти?
 Наш мир уже давно сошел с ума.
 Шут лижет спины. Строит вор дома.
 Распята совесть. Яды шлют в конверте.

Все на продажу. В этой круговерти,
 Кто честен – тому паперть иль сума.
 Бездарных книг написаны тома.
 И опозорена честь в Интернете.

Правителям и пасторам не верьте.
Погашен свет в тоннеле. Правит тьма.
Для несогласных – ссылка иль тюрьма.
Прошу: пять унций яду мне отмерьте.

О чем жалеть? Спокойно я уйду.
Но с кем поделишь ты свою беду.

Нам с тобою нечего делить.
Нам с тобою нечего менять.
Нам с тобою некого винить.
Людям очень трудно нас понять...

Мы б любили – да не вышел срок.
Мы б смеялись – только шуток нет.
Постоянный, переменный ток...
Не горим – лишь дым от сигарет.

Из палитры звездной шьём судьбу -
наш наряд не видим никому.
По тончайшему скользим мы льду,
и лишь чудом не идем ко дну.

Столько испытаний! Но венок
лавровый уже сплетен для нас.
Парки нить прядут. Стучит станок...
И еще далек последний час.

Я не люблю тебя – смертельно хочу любить.
Пленённым мной вернуть свободу... И всех забыть.
Очиститься. Я знаю, смоем грехи вода.
И побегут обратно строем мои года.
Прислушиваться постоянно к тиши шагов.

Писать так, чтоб сводило зубы у всех врагов.
Бросаться в омут, возноситься, гореть в огне.
И не смущаться, не дичиться наедине.
Любить, любить тебя так нежно и так беречь,
чтобы с ума сводила снежность невинных встреч.
Чтоб до разрыва нервов было, чтоб до конца...
И чтобы на двоих хватило в стволе свинца.

Из венка сонетов

Сильнее смерти лишь перо поэта.
В конце концов - все обратится в прах:
замрут слова на каменных устах,
и заржавеет дуло пистолета.

Но трепет слов когда-то будет понят.
Не сможет он исчезнуть в никуда.
Уйдут в песок сады и города,
того, кто бомбу создал и не вспомнят.

Пока наш свет зовется белым светом
и ходит по планете род людской –
признание, награды и покой
не суждены мятущимся поэтам.
Но что им смерть и непризнанья рок
пред волшебством живущих вечно строк.

Эллайда Трубецкая – русская поэтесса, живущая в Америке с 1993 года, действительный член международного сообщества поэтов. Писать стихи для нее – значит жить. Раздумья о жизни, любви, вечности – все это выражено в ее стихах как будто просто, но зашифрована в каждой строке некая тайна... И читатели, очарованные и побежденные силой поэзии, возвращаются снова и снова к ее стихам, возносясь и становясь мудрее и чище.

Стихи Эллайды Трубецкой напечатаны в 18 книгах в России и США, а также в многочисленных газетах, журналах и интернет-изданиях.

Александр ГОЛЬБИН

ИЗ ЗАПИСОК ВРАЧА-ПСИХИАТРА

Новелла первая: НЕЧАЯННО, СЛУЧАЙНО...

В наше бурлящее время человеческих катастроф вся надежда – на Бога, который, как известно, един, милостив, всемогущ и всеведущ. Но ведь и у нашего милостивого Бога есть мерзкий антипод, именуемый дьяволом. Пока наш добрый Бог спит, этот самый дьявол делает свои недобрые дела. Судя по тому, сколько дьявольщины уже надделано (то ли ещё будет!), создается впечатление, будто дедушка Бог страдает расстройством сна, которое медики называют нарколепсией. Это такая напасть, когда страдающий вдруг мгновенно засыпает. Неожиданно и в любое время дня, во время разговора и даже смеха. При этом руки и ноги его парализуются, и он ничего не может сделать. Вот тут-то у дьявольщины и самый разгул! А Бог, даже проснувшись и видя весь ужас сотворенного, ещё некоторое время не может двинуться с места, поскольку находится в парализованном состоянии.

До лечения небесных пациентов я не дорос, а вот лечение болезней судьбы – наместницы Бога на земле – меня очень даже интересует. Я даже изобрёл название науки о болезнях судьбы: судьбо-патология. А я, значит, судьбо-патолог. Вы и сами знаете по себе, что болезней у судьбы видимо-невидимо! Взять хотя бы её эмоции – то возлюбит, то возненавидит без повода – просто маниакально депрессивный психоз какой-то. Да и с рациональным мышлением у неё слабовато – умных унижает, дураков пестует, бандитам власть даёт... А в услужении у неё – господин случай. Тоже – сумасброд еще тот. Иногда внезапно озарит вдохновением, открытием и удачей. А иногда глупостью своей испортит всю репутацию хорошему человеку. А вот лечение случайно испорченной репутации – тяжелее химиотерапии...

Бывают разные случаи. Один из них больно задел моего близкого друга. И история эта о том как человек лечит свою судьбу...

Начать эту историю я должен с признания, что, когда я оказался в Америке, то мои знания английского языка и американской жизни были, как говорят, на уровне плинтуса. В бывшем Союзе я «учил» немецкий, сами знаете как. Так получилось, что иммиграция для меня случилась неожиданно и быстро, но это отдельная тема. Короче, я был очень даже проблемным студентом в резидентуре. Вот тут-то мой сокурсник Давид и оказался моим спасителем и ангелом-хранителем. Это он давал мне свою машину и мужественно сдерживал мат во время моего обучения навыкам вождения, что приравнивалось к преднамеренному самоубийству. Когда я не успевал следить за витиеватыми лекциями некоторых философов от медицины, или вслух недоумевал по поводу заумных дискуссий в связи с простейшими случаями, Давид терпеливо пересказывал мне нужный материал, а преподавателям представлял мои политнекорректные высказывания в приятных для них словах. С самым невозмутимым видом он поправлял моё произношение в словах «факир», «факт», и после некоторого посвящения моего друга в русский лексикон, мы вместе смеялись над его произношением фамилии нашего профессора – Ебенхоу.

Кроме доброты, Давид обладал артистическим даром и аристократической внешностью, был кантором в синагоге, женат на очень красивой испанке и имел двоих замечательных детей. По окончании резидентуры он был незамедлительно принят в один из лучших госпиталей штата и прославился как замечательный детский врач-психиатр.

Что вам ещё надо, чтобы доказать, что перед вами тот идеал, которым нужно гордиться?! И мы все гордились, особенно администрация госпиталя. Когда госпиталь получил предложение от Национального Института Здоровья провести исследования веса у детей, принимающих лекарства от гиперактивности, этот проект единогласно поручили Давиду, зная его педантичность и кристальную честность.

Тут надо заметить, что это исследование имело политическую окраску. Толпы людей ходили по улице с плакатами: «врачи – убий-

цы наших детей!» Попахивало чем-то знакомым, не правда ли? (Как хорошо, что эти добропорядочные граждане не ведали об опыте нашей родины, как надо обращаться с «врачами-убийцами»). Очень правдивая газетная гвардия дружно скандировала, что лекарства, стимулирующие активность головного мозга детей, этот самый мозг убивают и делают из весёлых гиперактивных детишек безвольных зомби. А в реальности, если препараты давались «по делу», эти неуправляемые гиперактивные «бандитишки» переставали бегать по потолку, бить стёкла, поджигать бумаги под кроватью, дико драться со всеми и не спать по ночам. Они превращались в хорошо успевающих учеников и впервые начинали хоть как-то признавать общесоциальные нормы. Но ошибки и передозировки все-таки случались, и возникло целое направление антимедицины, «научно» доказывающее, что врачи-психиатры и фармацевты – это банда эксплуататоров, наживающихся на здоровье трудящихся. Как доказательство, публиковались ужасы о том, что эти лекарства снижают вес, останавливают рост и развитие ребёнка и убивают его как личность. Понятно, что все исследования со стимуляторами подвергались скрупулёзному анализу и общенародному подозрительному вниманию.

Давид взялся за исследования с большим энтузиазмом. Он был, как здесь говорят, «перфекционист», то есть, делал все супераккуратно и очень этим гордился. Результаты исследований показывали, что дети развивались нормально с успехами в учёбе, нормализацией поведения, без проблем с весом. Исследования подходили к отличному концу и все ожидали известности в масштабе всей нации. Вот тут-то выскочил из засады предательский и глупый случай. (Почему всё плохое случается в последний момент?).

Как обычно, пациента, мальчика 8 лет, дедушка привез в клинику прямо из школы. Что дедушка не знал, так это то, что внучек в школе слегка не удержался и наделал в штаны по большому. В туалете он выбросил запачканные трусы и надел штаны на голое тело.

Дальнейшее можно охарактеризовать двумя противоположными эпитетами: а) банально и типично, б) абсурдно. Решайте сами.

То, что мне поведал Давид и чему я сам был свидетелем, представлялось мне в виде сценария для документального кино:

Кадр № 1. Мальчик заходит в кабинет, и доктор доброжелательно предлагает ему, как всегда, раздеться и встать на весы для изме-

рения. Увидев бесштанную команду, доктор спрашивает его, в чем дело, и успокаивает мальчика, что «это может случиться с каждым». Мальчик просит доктора не рассказывать дедушке, чтобы от него не дошло до мамы, которая, в силу особенностей своего характера наверняка придет в школу проводить расследование... Доктор обещает мальчику держать секрет и сдерживает свой слово.

(Голос за кадром: «Добрый доктор Айболит – сам себе он навредит», и надпись для взрослых: «Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным».)

Кадр №2. Мальчик приходит домой и мама видит, что у мальчика пропали трусы (Недоумение на лице у мамы!). Мама задаёт вопрос деду: «Он был одет, когда пришёл к доктору?». Дед пожимает плечами и отвечает, что да, конечно, одет. Тогда мама совершает блестящее дедуктивное сальто-мортале и приземляется со страшным подозрением, которое тут же переходит в твёрдое убеждение, и задаёт прямой вопрос мальчику: «Это доктор снял трусы?». Мальчик, радуясь, что вопрос о приходе мамы в школу отпадает, тут же подтвердил, что да, конечно, доктор снял трусы, и они остались где-то «там». Мама звонит всем своим знакомым с возгласом «какой кошмар, вы не поверите..!» (Благородный гнев на лице мамы в полный экран. За кадром – весёлая детская песенка «По секрету всему свету». Надпись для взрослых: «Берегитесь детей!».)

Кадр № 3. Госпиталь. Суматоха. Поступила жалоба от уважаемой родительницы о неблагопристойном поведении одного из наших докторов, с подозрением на сексуальное растление малолетних. (Камера показывает лица на Совете директоров) . Выражение лиц сменяется от возмущенного недоверия к клеветнице на одного из наших лучших врачей, далее – к сомнению по типу «кто его знает, в тихом омуте...». В процессе горячих дебатов вдруг осознаётся опасность для госпиталя и для них лично, поскольку каждый из них письменно давал восторженную характеристику предполагаемому правонарушителю. Теперь возмущение доходит до апофеоза: «Мы ему доверяли, а он нас опозорил! Какой негодяй! Убрать педофила!».

Это был самый короткий митинг в истории госпиталя с постановлением немедленно исключить доктора Д. из нашего славного коллектива и ходатайствовать о лишении его права практики. На замечания других врачей, что ещё ничего не доказано и «мы же зна-

ем его столько лет!» ответ дирекции был очень искренен и понятен: «А вы ручаетесь своим дипломом, если...? Сами знаете, какое сейчас время! Все судят всех – врач боится лечить пациентов, учителя боятся требовать с учеников, полиция боится задерживать преступников...» (В кадре – смущение и смятение на лицах верных коллег, опускающих головы и руки... Голос за кадром: «Алиса в стране дураков, где видят всё наоборот..» . Надпись для взрослых: «Ты украл или у тебя украли, но ты замечен в воровстве»).

Кадр № 4.. Какая удача для журналистов: врач, детский психиатр – педофил! Вот до чего мы дошли! Священники, учителя, доктора насилуют наших детей! Никому не верьте! Под личиной... Журналисты и телевизионные камеры не дают доктору прохода. Они обращаются к общественности, дотошно расспрашивают мамаш других пациентов доктора. Те сначала начинают говорить о том, что они не верят клевете на нашего любимого доктора, но вскоре начинают сомневаться и вспоминать, как он был слишком уж ласков с их детьми. Нашлись мамы, которые утверждали, что да, точно, их дети, приходя от встречи с доктором, вели себя уж очень тихо, странно послушно, и только теперь мамы поняли, что их дети были изнасилованы.

(В кадре – родительские лица жаждущие крови!.) Голос за кадром произносит слова из детской сказки: «Ведьма говорит принцессе: «Что ты любишь, от того и погибнешь» . Надпись для взрослых: «От любви к ненависти один шаг. И сколько таких шагов мы делаем?» Сопровождается музыкой победного марша...

Кадр № 5. Сцена суда. Присяжные высказываются.. Кто такие присяжные? Нигде не работающие домохозяйки, готовые убить любого за своих внучат. Им никаких доказательств не надо. И так всё понятно. Вон сколько этих садистов развелось! Чего там этот адвокат-защитник бормочет о каких-то непонятных терминах типа биполярной депрессии у матери ребёнка, неадекватно поставленных вопросов испуганному мальчику, и то, что энкопрез (недержание кала) у мальчика случался и раньше...Нас не проведёшь! Притворяется хорошим, этот очкарик. Но мы-то его раскусили сразу. К ногтю его!..

Общественное мнение свой приговор вынесло. Но вы наше правосудие не трогайте! Судья честно постановила: «Оснований

для обвинений нет. Достаточно, что он уже не практикует... Пусть лечится... Отпустите его».

Отпустили. Но травмы уже непоправимы. Из госпиталя уволили ещё до расследования. Лицензию отобрали. Назначили принудительное «лечение» у психолога по поводу «неадекватных влечений». Страховка отказалась покрывать судебные расходы «сексуальных преступлений». И друзья, и работодатели шарахаются во все стороны... Финансовая катастрофа...

Я слушал историю своего друга, и мне было его очень жаль. Ведь мы столько прошли вместе... И вот теперь судьба измотала его, и мы поменялись местами. Теперь он сидел у меня в новой клинике. И не я у него, а он у меня спрашивал совета, как жить дальше. Даже в таком состоянии я не мог забыть сколько он сделал для меня. Как говорил незабвенный Омар Хайям: «Как храм разрушенный всё ж остаётся храмом, так бог поверженный всё ж остаётся богом»...

Долго мы говорили, искали всякие варианты, вплоть до переезда в другую страну, например, в Испанию, или Аргентину. Или вступить в Корпус Мира, где врачи посылаются в самые горячие точки на планете. Предлагались и дикие варианты: играть на бирже, уйти в таксисты. Он внимательно слушал с выражением лица психиатра, слушающего бред больного, по типу «говорите, пациент, говорите...».

Так случилось, что мы не встречались несколько лет. Как-то мы с женой решили на поездку по европейским странам, и турагентство раскошело на лимузин, который отвезёт нас в аэропорт. Каково же было моё удивление, когда в джентльмене в черном костюме, белой рубашке и дорогом галстуке со сверкающей запонкой я узнал моего друга Давида.

– Ты что, шофером стал? – изумленно спросил я.

– Не только шофёром, но и хозяином компании лимузинов. Узнал, что этот вызов был к тебе, и решил лично побаловать старого друга. Это ведь ты тогда посоветовал мне пойти в таксисты. Вот я и подумал, почему бы мне не стать эксклюзивным доктором, который возит других докторов и директоров. Продал свою машину и купил подержанный большой кадиллак. Сначала я даже не знал, что таких

компаний десятки, но быстро разобрался в их нехитрых интригах и нашёл свою клиентуру. Таких, как ты, – засмеялся он.

– У меня уже девять машин, и я покупаю ещё пару. Мои сотрудники говорят на нескольких языках. Все с высшим образованием, профессионалы, которые временно или постоянно не могут найти работу по специальности. В дополнение к обычной доставке бесплатно показываем основные достопримечательности. Оказываем по возможности другой интеллектуальный сервис. У нас долгосрочные контракты с клиентами. При повторном вызове – скидки, ну и т.д. Через некоторое время открыл бизнес по продаже медицинской аппаратуры в страны Латинской Америки. Хотел, кстати, завязать отношения с Россией, но обжёгся...

– Не скучаешь по медицине? – осторожно спросил я.

– Скучал. Через три года мне вернули врачебную лицензию. Сначала искал подработки на «Скорой», потом бросил. Страховку на практику мне подняли до небес... Я сейчас основал благотворительное общество помощи детям – с иммунодефицитными болезнями, включая опухоли. Меня теперь приглашают читать лекции по этим заболеваниям. Врач – он всегда врач...

Я с удивлением смотрел на дорогие часы на его руке, спокойно и твёрдо держащей руль, благородную осанку и профессорский вид. Он опять взял в свои руки руль жизни.

Во время полёта в Европу я думал, что вот тебе и готовый сценарий для второй серии фильма о превратностях судьбы. Но это уже будет кино о победе моего друга над судьбой.

Действительно, господин Случай – лакей судьбы – может сильно покалечить жизнь. Но последнее слово все-таки остаётся за Человеком!

Засыпая в кресле самолёта, я услышал голос за кадром: «Жизнь даётся человеку один только раз! Нечаянно, случайно...»

Новелла вторая: ЛЮБОВЬ ФАТАЛЬНАЯ

Однажды, после моего доклада о психофизиологии привычек, ко мне подошла одна из наших психологов, Дженифер, отозвала меня в сторону и тихо спросила, знаю ли я, что происходит в мозгу в случаях «роковой, фатальной любви».

– Где ты видела, чтобы психиатры что-либо знали о любви вообще, а о роковой любви тем более? – пытался отшутиться я.

Наша «психологиня», мне казалось, была легко читаемой книгой. Потомок польских аристократов с примесью французской крови, она в свои 45 выглядела очень женственной, одевалась с большим европейским вкусом, была дружелюбна со всеми, но держала чёткую дистанцию профессиональных отношений. Мы знали, что она была замужем, развелась, есть ребёнок и «бойфренд», которого, впрочем, никто не видел. Она пользовалась большим уважением коллег завоеванными знаниями, внимательным отношением к пациентам, спокойным характером и практической рассудительностью. Вспомните образ старой мудрой учительницы в вашем детстве или в книжках – во-во, угадали – это она... И, к тому же, «тётя самых честных правил...» И чего это ей взбрело спросить о роковой любви? Может, тему какую-то разрабатывает или вспоминает минувшие дни...

Почувствовав её тяжелый взгляд, который она, уходя, бросила на меня, я понял, что шутка была неуместна. Что-то тут было посерьёзней. В памяти опять всплыл случай, который я очень старался забыть.

...Много лет назад, в последний год моей резидентуры по психиатрии, мне позвонили из университетского отдела по связям с прессой и попросили принять одного известного телеведущего, вроде как с проблемой сна и алкогольной зависимостью.

Телеведущий, как и ожидалось, был симпатичен внешне, этакий плейбой, держался несколько надменно. Он гордо намекнул на свои русские корни, щегольнул знанием русской литературы и не преминул подколоть мой явно не «киношный» вид и акцент. Не прошло, впрочем, и получаса, как вся спесь слетела с него, и он обмяк, как спустившее колесо. Симптом расстройства сна был, по его словам,

просто предлогом визита к врачу-специалисту, потому, что он находится в ситуации, выхода из которой он не видит. Стал бояться ночей, суицидные мысли посещают его ночью всё чаще и чаще.

– Уменя никогда не было проблем с женщинами, – начал он издалека. – Моим кумиром был Дон Жуан. Я не пропускал ни одной женщины, якобы как режиссёр в поисках образа. Я считал себя великим знатоком женщин, и количество их, проскальзывающих через мои колени, поверьте, было несметным. Вокруг меня было столько красавиц, богатых и умных! И из известных семей, которые добивались меня и обещали мне Голливуд. Я не могу понять, как получилось, что меня захватила никому не известная, примитивная и хищная простушка? Как это я, давший обет безбрачия, через месяц женился? Сначала она мне показалась восточной красавицей. Вы, наверняка, должны знать, что женщина, о которой писал Пушкин: «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты...», была далека от воспетого им идеала. Пушкин-то прозрел сразу, да и я много раз «прозревал», а тут – «прозевал». Что же управляло моими глазами?.. Честно говоря, не в глазах дело. Я сразу видел, что это за птица, но меня захватило и понесло. Это что-то ужасное – это не любовь и не секс. И то, и другое было отвратно, но я был привязан какими-то цепями.... Гипноз какой-то или, как говорят, наваждение.... Она изменяла мне со всеми и, смеясь, прямо говорила, что это её натура. Она меня разоряла, покупая дорогие и совсем ей ненужные вещи. В конце концов, она подала на развод, который разорил меня. Её образ преследует меня день и ночь. Я готов ей простить всё, лишь бы услышать или увидеть её. Я мысленно рисую сцены её убийства. Я ненавижу её всей своей сутью, но что-то дьявольское внутри держит меня в тисках. Дело дошло до того, что я обещал платить ей по 300 долларов только за то, чтобы она встречалась со мной за чашкой кофе. Только чтобы услышать её смех. Я стал искать утешение в других женщинах – стало еще хуже. Я стал пить, чтобы забыться. Не помогло. Я потерял себя, потерял свое профессиональное реноме и, в конце концов, потерял работу. Помогите! Если это был гипноз – снимите этот кошмар другим гипнозом. Клин клином.. Иначе мне не жить...

«А что, – подумал я, – если бабки могут снять «наваждение» каким-то своим, чудодейственным заговором», почему бы не попы-

таться убрать эту «идею-фикс» гипнозом?» – и рассказал о визите телеведущего своему шефу по психоаналитическому курсу.

– Да что вы о себе воображаете! – возмутился он. – Вам осталось пару месяцев до окончания резидентуры, и вы собираетесь рисковать экспериментами с гипнозом?! Вы знаете, что Фрейд отказался от гипноза, и, к вашему сведению, один из госпиталей платит по суду огромную сумму за «ложные воспоминания» пациентов под гипнозом. Кто знает, что натворит или «вспомнит» этот алкоголик под гипнозом! Вы поставите под удар весь университет. Мы категорически запрещаем! В противном случае, вам будет грозить исключение из резидентуры!

Испугался я тогда, отступил – на карте ведь была вся моя жизнь... А через месяц я узнал, что телеведущий в алкогольном опьянении врезался на машине в столб и погиб. «Это урок всем! Выпившим нельзя водить машину!» – доносилось с экрана. А мне было тошно, когда меня поздравляли с успешным окончанием резидентуры...

Через несколько дней я решил зайти в офис к Дженифер. Начал с извинения за свою неудачную шутку, а потом рассказал о том случае и предложил поговорить всерьёз.

– Вы думаете, я просто так задала вопрос? Мне показалось, что вам можно довериться..., что со стороны виднее и вы, может быть, сможете подсказать ...

Со смешанным чувством симпатии и удивления слушал я исповедь профессора психологии о ее собственной душевной драме.

– Честно говоря, я долго не решалась рассказать о том, что произошло. Мне самой странно, но я внезапно, помимо своей воли, влюбилась в психопата. Фатально. Как вы сами понимаете, я много раз анализировала свой «случай». Я искала в истории своей семьи слабых женщин, генетика которых могла передаться мне. Искала и не находила. Мои предки по женской линии были гордые и независимые. Некоторые оставались одинокими, но не бросались на шею первому встречному.

Вышла я замуж, как мне казалось, по любви. У нас появился ребёнок и вместе с ним проблемы. Я поняла – мы разные как родители. Разные как супруги. Разные как партнёры, и разные у нас дороги. Долго не мучилась – хирургию развода провела быстро, решительно

и без агонии. Остались друзьями – отец есть отец. Была полностью спокойна и посвятила себя работе и сыну. И не было никакой сексуальной озабоченности. Я жестко контролировала все аспекты своей жизни. Были попутчики. Расставалась легко. Пока не встретила своего теперешнего бойфренда...

Как это произошло? Банально.

Он – журналист, писал какую то статейку о нашей работе по детям с аутизмом. Сразу как-то не понравился – самовлюбленный нарцисс. Но уж очень искренно и увлеченно рассказывал о своей работе, как ездил в опасные места и всё такое. Конечно, я видела, что он привирал, но было приятно его внимание. Приглашал на прыжки с парашютом, на горнолыжные трассы.... Во мне давно дремала авантюристическая жилка – люблю всё экстремальное.

На этом и попалась – любитель экстрима при близком знакомстве оказался слабовольным, эмоционально неустойчивым психопатом. Секс – одно название. Казалось бы, всё просто – диагноз ясен. Лечение – тоже понятно: отрезать и забыть. Тем более, что он запил, потерял работу, опустился до бомжа. Обнаружили у него предраковое заболевание почек. Чёрт его знает, то ли жалость, то ли что-то еще, но разрешала ему приходиться ко мне. И вдруг однажды я осознала, что не могу без него. Как будто приняла наркотик. Полный холодный анализ ситуации. Чёткое понимание необходимости скорейшей хирургии. И полная неспособность сделать это. Я себя ненавижу...

Вы думаете, я вас спросила, не пытаюсь вникнуть в проблему самой? Никакой сексуальной, финансовой или эмоциональной зависимости у меня нет. Я перевернула всю литературу о так называемой «фатальной любви» и «роковых» женщинах и мужчинах. Помните фильм о Байроне и Лэди Каролине Лэм? Этот маньяк привлекал женщин своими сексуальными извращениями и ставил их в полную зависимость. Он заставлял Каролину не только наставлять рога своему высокопоставленному мужу, но публично раздеваться почти догола. Изучила я и историю художника Рафаэля. Рафаэль гордился своими любовными подвигами, десятки дам из высшего общества толпились у него в мастерской в ожидании, когда у гения выдастся свободная минутка, чтобы поочередно отдаться ему. И чем всё это кончилось? Самая ординарная 17-летняя куртизанка,

дочь булочника, Маргарита Лути привязала его к себе да так, что он стал её рабом до конца жизни, запечатлев её сфантазированный образ в «Сикстинской Мадонне», «Донне Фелате», «Мадонне в кресле». Он видел её алчность и хитрость и ничего не мог с собой поделать...

«Сюжет для Голливуда», – думал я. Отношение Рафаэля к Маргарите Лути – типичный пример любовной зависимости, фатальной любви. Это позднее назовут синдромом Адели – по имени дочери Гюго, любовь которой к одному невзрачному офицеру погубила её жизнь. Ни в чем не смея ему отказать, она поставляла ему проститутку и терпеливо ожидала в соседней комнате, когда у того закончится любовный сеанс. Синдромом Адели страдал и мой пациент-телеведущий, и великий Рафаэль. Он стал нищим, умолял Маргариту не спать со всеми подряд. Однажды, в очередной раз застав её в постели со своим учеником, он в ярости тут же пытался овладеть ею и умер на месте от инфаркта. Ему было тогда всего 37 лет...

Фатальная любовь – что же это за дьявольщина такая? Ну, скажем, у наших великих героев помешательство было на почве сексуальной зависимости. А в случаях с телеведущим и Дженифер секс был, в основном, ни при чём. Ни моя коллега, ни её бойфренд не были похожи на хитроумных охотников или сексуальных маньяков. Что-то более глубокое, на уровне «химии», довлекло над ними.

Я вспомнил и другие встречи, когда очень порядочные, добрые и образованные женщины любили бандитов, физических и нравственных уродов. И наоборот, интеллигентные красавцы становились рабами больных, злых и некрасивых дамочек. Почему?

– Знаете, что я поняла? – продолжала собеседница, прервав мои мысли. – Мы думаем, что если узнаем причину, найдём, так сказать, её корни, то, поняв их, сразу излечимся. Ничего подобного! Я, к примеру, всё понимаю, но избавиться от наваждения сама не могу. Все формы когнитивно поведенческой терапии применяла на себе, а воз и ныне там.

После долгого молчания она продолжала, поражая меня контрастом глубоко печального тона её голоса с научно-формальным стилем слога, как будто она читала лекцию, отделяя себя от ситуации.

– Осознание проблемы, оказывается, недостаточно, – говорила она. – Оно не лечит, как нас учили, хотя и показывает путь к нему.

Суть проблемы, я думаю, не в подсознательной психологии, которую надо вытащить наружу, а в биологии... Где-то глубоко в мозгу происходит сдвиг в нашей «программе» и меняет всю мотивацию. Вот я и спрашиваю: где же эта программа?

С того дня идея нашей «психологини» о «мозговой программе» любви, такой странной и «роковой», не давала мне покоя. Существует ли такая программа в действительности? И возможно ли её изменить? И как? Поиски в специальной литературе удачи не принесли. Никто из серьёзных физиологов ничего о программе фатальной любви не писал и экспериментов не ставил. Кстати, об экспериментах. Для экспериментов в биологии выбирают модель. В экспериментах на мышках моделируют поведение людей. А где взять «модель» любви?

Как ни странно, но такая модель нашлась. И где бы, вы думали, она спрятана? В «любви» к наркотикам. Не спешите возмущаться кощунством сравнения пагубной привычки падшего наркомана с великой человеческой любовью. Во-первых, фатальная любовь тоже пагубна, как мы убедились. Во-вторых, наркоман тоже ясно понимает, куда он «влип», но изменить судьбу сам не может. В-третьих, никто не утверждает совершенство этой «модели». И все-таки... а вдруг поможет...

Суммируя в нескольких словах результаты моих блужданий в физиологии наркомании, я понял, что в происхождении мучительной зависимости от наркотиков (которую старые врачи называли «привыкание с пристрастием») есть два периода. Первый период (привыкание) – полезно-приятный. Почему бы не курнуть сигаретку для расслабления затекших членов и успокоения измученной души? Или, скажем, не пропустить стаканчик?..

И вдруг, в какой-то момент, почти внезапно, выясняется, что уже не заснуть без сигаретки и не успокоиться без стаканчика. Сигаретка стала управлять сном, а стаканчик – душой. Это наступил второй период («пристрастие»). Произошла, как изящно выражаются современные ученые, «инверсия» – т. е., не вы управляете привычкой, а она вами. И ваш высокий интеллект и престижные дипломы тут не помогут. И, к слову, что происходит в мозгу в эти периоды, известно со всеми подробностями...

Как это относится к любви? Сначала (первый период), где-то в глубине организма, вне сознания, тлеет и разгорается потребность в любви, готовность «встретить принца».

Как поётся в одной песне: «Где же ты, мой такой долгожданный? Где же ты, где же ты, где же ты...».

В это критическое время и появляется «ОН/ОНА». Срабатывает механизм похожести (похож на любимого отца (мамочку)..., на надёжного..., на нестандартного..., на... – у каждого своё). И глаза показывают не то, что в реальности, а то, что хочет это «что-то» под сердцем... А когда глаза прозревают – уже наступила инверсия (второй период) – и это «что-то» под сердцем или в животе начинает управлять мозгом... Ну и что теперь делать? Убеждения и лекарства мало помогают. Кажется, что повернуть мозги можно только каким-нибудь шоком...

Так уж получилось, что сама жизнь решила эту головоломку. Через пару месяцев после нашего разговора Дженифер приняла приглашение на работу по контракту в какую-то африканскую страну с миссией обследования тамошних детей на аутизм, а заодно и преподавать английский. Она посылала нам открытки оттуда, и иногда мы общались по скайпу. Она была довольна материальными условиями, к ней там относились хорошо. Однажды она с тревогой в голосе сообщила, что вот уже несколько дней отсутствует журналист, который связан с её группой. И ситуация, она призналась, стала «взрывоопасной». Исламские экстремисты уже хозяйничают в соседнем городе, и она связывается с американским посольством, чтобы вернуться в Америку, но ждёт, когда прояснится ситуация с её другом. Затем связь на некоторое время пропала.

Вскоре она сама появилась в клинике. Из её сдержанных ответов на вопросы взволнованных коллег было понятно, что она попадала под обстрелы, натерпелась там страху, но все прошло хорошо, во многом благодаря её другу журналисту, который чуть не попал в саду и переждал несколько дней в соседней деревне.

Когда мы, наконец, остались одни, я шуточно спросил – есть ли что-нибудь общее между её новым другом и прежним бойфрендом? Она в таком же шуточном тоне ответила, что, да, есть общее – оба были журналистами и оба... лысые. Между прочим, она видела свое-

го старого бойфренда, и ничто в ней даже не дрогнуло. Казалось, он был из какого-то старого фильма, из другой жизни..

– Да, забыла сказать, я выхожу замуж за моего друга, – объявила Дженнифер.

– И что же тебя вылечило от фатальной любви? – поинтересовался я. – Шок от пережитого, отобстоятельств?

– Да,– ответила она как-то уж очень серьезно. – И ещё цветок.

– Цветок? Какой цветок? – не понял я.

– Тебе нужно точное ботаническое название? «Любовь обыкновенная».

Чикаго, 2016

Александр Гольбин по профессии врач-психиатр, кандидат медицинских наук, один из признанных авторитетов в области психиатрии сна у детей и взрослых, много сделавший также для развития теории «полезных болезней».

В прошлом ленинградец, Александр Гольбин с 1981 года живет и работает в США, где успешно прошел резидентуру и аспирантуру в Иллинойском и Стэнфордском Университетах. Основатель и бессменный директор Чикагского Института сна и поведения.

Врач-литератор – замечательное явление в русской литературе, и не будет преувеличением сказать, что доктор Александр Гольбин достойно продолжает эту традицию. Его перу принадлежат несколько научных монографий на русском и английском языке, огромное число публикаций в русскоязычной и англоязычной научной периодике. Его отличает стремление заглянуть в души людей не только под углом врача-психиатра, но значительно глубже, с более широкой, общечеловеческой точки зрения.

Многие непридуманные истории доктора Александра Гольбина, опубликованные на страницах американских русскоязычных изданий и в Интернете, по достоинству оценены читателями.

Гари ЛАЙТ

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

В преддверии дождя во времени провал,
влекомый совершить штрихи непостоянства
вдруг, хлётко, по глазам – и молнии оскал
в частицы раздробил теорию пространства...

И просветленья жест, вне звуковых оправ
уверенно явил себя среди стихии,
пророк из недотрог вдруг оказался прав...
Во снах его сожгли наездницы лихие.

Преддверие, увы, в себе самом таит
не более того, что есть в нём изначально.
Пиит, когда гоним, о будущем твердит,
и оттого всегда преддверие печально...

Маринистское

Эскадрилья пеликанов
мимо крыш, внезапно, к морю,
к горизонту, где намедни
миражи сплелись в тумане
островных ли геометрий,
или пришлого фрегата
с неприкаянной командой
и шальными парусами.
У легенд прибрежных пирсов

столько послесловий в прозе,
что рифмованным в размере
даже как-то и неловко
предлагать альтернативу
для полотен маринистов.
Чай с лимоном, крепкий виски,
вивисекция замены
неразбуженной, и даже
корабли вернулись с рейда.
Судьбоносность в свежем ветре
не сулит ограничений
по развитию событий...
Потому и пеликаны
на маневрах спозаранку
отрабатывают средства
по воздушной обороне

2016

Случились времена
сомнительных вельмож
сомнений прежних вер,
избыточности истин.
Взбодрились племена
гонцов скрипящих кож,
где агнец Робеспьер
к вершителям причислен.
Рожденные в террор
не падки до чудес,
их выбор измельчал
до взгляда из чулана,
заглохший «невермор»
с позором изгнан в лес,
чтоб впредь не докучал,
прочеством незванным.

Воспрял анахронизм
и духом и словом,
враз, махом отменив
развитье по спирали,
сколь сладостен трюизм,
приправленный свинцом,
но чем чреват отлив,
все, кажется, читали...
Коль скоро разговор
кончается у стен,
давно разбитых в прах,
но якобы воскресших,
нелепы реки с гор,
не нужен, глуп Верлен,
в фаворе – падишах
рыжеющих проплешин.
Похоже, что не сон,
не бесталаный фильм,
а очень даже явь,
вполне реальна даже,
что ставили на кон
глаза актрисы Ильм,
как быль не озаглавь
суть в будущем подскажут.

2016

«... И в немом полумраке заморского бдения...»

Вадим Егоров

Однажды зимнею Москвой
от Пресни прошагал до Сокола,
и стала Горького – Тверской
кончался век, вокруг да около.
Я позвонил поэту в дверь,

немного оробев от дерзости,
я знал его по строкам: «Верь»,
по доброте и безвозмездности.
Мне отворили, я шагнул
в уют, на чай и в царство книжное,
я помню, как, подвинув стул,
читал застывши в неподвижности.
Мы говорили о стихах,
о Пастернаке и Цветаевой,
о том, что не вернётся страх,
пока гитару он настраивал...
Я до конца не понимал,
что человек, дожди означивший,
в мой год рожденья... Подливал,
мне чай в стакан... Так много значащий...

2016

Key West Blues

Когда-то мы с ней прилетали сюда
нам было по двадцать, слова «никогда»,
для нас не звучали... Постель и стихи,
мы жили Парижем и виски плохим.
Нам яблоч зеленых и прочих утех,
хватало с лихвой на любовь и на смех.
Мы даже не знали, в котором часу
закат и рассвет зажигают росу.
Обузой казались одежда, еда
и губы по коже шептали – «всегда»...
Про дальше – нет смысла, банален исход,
но в жизни у нас был тот пламенный год,
когда зашаталась в Берлине стена,
любовь в Марафоне – вода из окна,
как рыба в Ки-Ларго – из самых глубин,
не то, что б сегодня об этом скорбим.
Лет двадцать прошло, как не муж и жена,

все это давно уже послано на...
Жаль просто, что стали такими как все,
прости нас, Ки-Вест, вытри тени со стен.

Предвесенние сводки с фронтов,
лексикон сорок третьего года,
нависающий меч небосвода,
батальон к наступлению готов.
Батальон в конце века рождён
поголовно в Советском Союзе,
завтра в нём нахватают контузий,
кто ранений, а кто похорон.
А пока экипажу сержант
на гитаре аккорд из «Грин Грея»
подберёт в ледяном БТРе,
за бетонкой – «псковской» лейтенат,
тоже с напрочь промёрзшей гитарой,
им потворствует блюзом «Чижа»,
и орефьевским регги про «Джа»,
или там «Наутилусом» старым...
Крикнет сипло в луганскую ночь:
«Эй, хохлы, что предложите к чаю?»
И сержант отзовется: «Печали...
Шёл бы ты... До Изварино прочь...»
А с рассветом начнётся обстрел,
прилетят «Буратино» и «Грады»,
смерть сроднит их своей серенадой,
обращает фрагментами тел...
Не дадут ни квартир ни наград,
их родителям, ставшим седыми,
в зимнем воздухе эхо застынет –
Украина. Дебальцево. Ад...

12 февраля 2015 - 25 августа 2016

Мокрый снег... После Нового года
дня четыре уже отсчитались,
век – юнец, оттого и погода
куролесит, нисколько не каюсь.
В эти дни Мичиган как Солярис –
и дыханьем, и цветом, но только
у Тарковского всё же расстались,
а в ремейке – постольку-поскольку...
В межсезонье погрязший декабрь
в ретроспекции кажется нервным,
но и в нём, как судьбы дирижабль
ночь с тридцатого на тридцать первое...
Вряд ли сбудутся предначертанья –
звук подков об асфальт Линкольн-парка,
а из искренних всех пожеланий –
чтоб свеча не казалась огарком.
Январь по призванию – начала,
либо избранных тем продолженья,
испокон их зима заметала
светло-снежными днями рождений.

Гари Лайт родился в Киеве в 1967 году. С 1980 года живет в США. По профессии – адвокат. Окончил Нортвестернский университет в Чикаго (факультеты политологии и славистики), затем юридическую магистратуру.

Член Союза писателей Москвы и Украины. Состоит в ПЕН-клубе. Стихи публиковались в журналах «Время и Место» (Нью-Йорк), «Новый Журнал» (Нью-Йорк), «Крещатик» (Германия), «LiteraRus» (Финляндия), «Эмигрантская Лира» (Бельгия), «Радуга», «Ренессанс» (Киев), «Кольцо А» (Москва) и других изданиях; в сетевых ресурсах. Участник антологий «Строфы Века-2», а также «Киев. Русская поэзия. XX век».

Выпустил 7 сборников стихов.

В настоящее время в Америке, Израиле и Украине готовятся к изданию новые книги стихов Лайта.

Евгений ГИК

ГЛУБОКИЕ ТАЙНЫ МАРКА ТАЙМАНОВА

Этот материал поступил в редакцию нашего журнала в тот момент, когда первый номер только начинал формироваться.

С его автором, Евгением Гиком, я познакомился в Нью-Йорке, куда он часто приезжал из Москвы навестить семью дочери и многих знакомых. Хотя, по идее, должен был познакомиться с ним много раньше, еще в Москве – ведь пути наши могли пересечься в здании на Чистых прудах, а затем близ Пресни, где помещались редакции столичных газет. Я работал в «Вечерке», Гик регулярно бывал в «Московском комсомольце», где печатал свои статьи. Но – не случилось...

Евгений Яковлевич – шахматист и шахматный литератор, мастер спорта (1968). Математик, кандидат технических наук. Участник чемпионата СССР (1967). Обладатель кубка Москвы (1971). Автор ряда популярных книг по шахматам и другим настольным играм, а также связанным с ними математическим проблемам и головоломкам. Всего написал 190 (!) книг на спортивную тему.

Его книги и статьи о шахматах и шахматистах отличаются неистощимым авторским юмором, порой переходящим в сатиру, что делает их популярными у широкого круга читателей. Перу Гика присущи лёгкий, изящный почерк, увлекательность и вместе с тем лаконичность изложения. Значительное внимание в своём творчестве он уделял частной и личной жизни великих шахматистов, чему способствовали его разветвлённые приятельские связи в шахматной среде.

Мы переписывались с Евгением Яковлевичем по электронной почте, он читал мои книги и делился впечатлениями, я читал его блестящие репортажи, рассказы и новеллы. И с удовольствием принял к публикации эссе, посвященное старейшему шахматисту пла-

неты гроссмейстеру Тайманову, перешагнувшему порог 90-летия. В тот момент оба – и автор, и его герой – жили и здоровствовались. И вдруг пришла печальная весть – Евгений Яковлевич скоропостижно скончался 24 октября в своей московской квартире. А через месяц и четыре дня, 28 ноября, ушел из жизни Марк Евгеньевич Тайманов.

...Мы решили опубликовать написанное Гиком. Эссе дает полное представление об уровне мастерства шахматного литератора, раскрывающего многие неизвестные страницы жизни знаменитого шахматиста и пианиста. Читайте и получайте удовольствие!

Давид Гай

Перечислять все титулы и заслуги старейшего на планете дважды претендента на шахматную корону нет необходимости. Все они хорошо известны.

Марк Тайманов догнал по возрасту своего давнего друга видного драматурга Леонида Зорина, автора замечательного фильма «Покровские ворота» и десятков других популярных пьес и сценариев, а также ещё и сильного шахматиста. Оба успешно преодолели 90-летний рубеж...

С Марком Таймановым меня познакомил именно Зорин. Перед чемпионатом страны 1969 года гроссмейстер остался без помощника, его постоянный секундант Евгений Васюков сам играл в этом турнире и не мог совмещать две обязанности. Тогда-то Зорин и предложил мою кандидатуру. Я уже много чего написал, и Тайманов ожидал увидеть пожилого и умудренного опытом человека. Был несколько удивлён, когда перед ним предстал молодой мастер. Но выбора у него не было, чемпионат вот-вот стартовал. Повезло и мне: я только что сдал кандидатские экзамены и ждал зачисления в аспирантуру, так что как раз образовалась пауза.

Не знаю, насколько велика была моя роль как секунданта, Тайманов рассказывал, что в какой-то отложенной я нашёл ценный ход – не очень помню, но отпираться не буду. Но главное, своим присутствием я вызывал у Марка Евгеньевича положительные эмоции и тем самым сыграл определённую роль в выходе в межзональный турнир, а оттуда по инерции и в матчи претендентов, где его поджидал Бобби Фишер.

Многое можно было бы рассказать о том давнем чемпионате: о феерической победе Тайманова в последнем туре над Лутиковым – чёрными в его излюбленной сицилианке; о том, как, выиграв партию, Тайманов первый и последний раз в жизни закурил; о том, как изо дня в день мы с Зориным переживали за гроссмейстера, сидя в зале ЦДКЖ; о банкете, который он после успешного финиша заказал в несуществующей ныне гостинице «Россия»...

Но для меня самым важным стало то, что мы близко сошлись с Таймановым, позднее нашли общий язык и наши жёны, так что мы, как говорится, до сих пор дружим семьями, постоянно встречаемся то в Питере, то в Москве.

Как видите, автор этих заметок знаком с Таймановым почти полвека и собрал немало весёлых баек про юбиляра. Надеюсь, читателю они понравятся (некоторые, например, про Солженицына и Ростроповича, давно стали классикой, другие не так известны). Ну а в конце, если читатель не утомится, предлагается шахматно-любовная история про гроссмейстера (автор тоже имеет к ней определённое отношение).

ДЕСЯТЬ ВЕСЁЛЫХ ИСТОРИЙ ПРО МАРКА ТАЙМАНОВА

Как ЦК с буржуазией боролся

Летом 1955 года в Москве состоялся матч СССР – США, и в один из дней американский посол дал торжественный приём по случаю Дня независимости США. На нём присутствовали руководители партии и правительства - Н. Хрущёв, Н. Булганин, Г. Маленков, пригласили и шахматистов обеих стран. Хрущёв разговорился с Таймановым и спросил его:

– А когда советские гроссмейстеры выступают за рубежом, они получают гонорар?

– Что вы, Никита Сергеевич, – ответил Тайманов, – как мы можем брать деньги у буржуев?! Наша задача – продемонстрировать преимущества социалистического строя, доказать, что мы сильнее их.

– А когда выступают дома, получают?

– Конечно, с чего бы мы тогда жили?

– Что-то здесь не так, – задумался Хрущев. – Выходит, у капиталистов, у которых деньги куры не клюют, вы ничего не берёте, а в нашей бедной стране берёте. Это никуда не годится. Нужно у них брать, и как можно больше!

И уже через несколько дней вышел специальный приказ по Спорткомитету, согласно которому советским шахматистам, выступающим за рубежом, разрешалось получать валюту. Так партия в лице товарища Хрущёва, борясь с проклятой буржуазией, помогла шахматистам заметно повысить свое благосостояние.

Неожиданная поддержка

В 1971-м после проигрыша Фишеру со счетом 0-6 Тайманова обвинили во всех смертных грехах, в том числе предательстве социалистической системы. Одна кара следовала за другой, но тут пришла поддержка с неожиданной стороны.

– Спасибо Бенту Ларсену, который тоже проиграл Фишеру, и тоже всухую, – заочно поблагодарил Тайманов коллегу.

Действительно, вторая победа Фишера 6-0 несколько отрезвила преследователей советского гроссмейстера. Уж датчанина они никак не могли заподозрить в тайном сговоре с капиталистами.

Сочувствующий таможенник

После возвращения из Канады на родину Тайманов был подвергнут в московском аэропорту тщательному таможенному досмотру. И, как назло, в его багаже обнаружили роман Солженицына «Раковый корпус». За провоз книги будущего лауреата Нобелевской премии гроссмейстер вскоре лишился почти всех званий и титулов. Но, разумеется, это был лишь предлог. Например, начальник таможен, прекрасно знавший Тайманова, сочувствовал ему:

– Эх, Марк Евгеньевич, если бы вы выиграли у Фишера, я бы вам собственными руками полное собрание сочинений Солженицына до такси донёс...

Неприятности у классика

Итак, «за Солженицына» Тайманов получил по полной программе. Но нет худа без добра: благодаря этому печальному случаю родилась бесподобная шутка, которую придумал Мстислав Ростропович: – Вы слышали? У Солженицына большие неприятности!

– Неужели! Что же случилось?

– Вы не знаете? У него нашли книгу Тайманова «Защита Нимцовича»!

Простой вопрос

Фиаско Тайманова в матче с Фишером разбиралось в Шахматной федерации СССР.

– Вы выбрали неправильную стратегию, – поучали Тайманова его многочисленные коллеги. – После проигрыша необходимо было делать ничью.

– Но как? – признав свою вину, спросил Тайманов.

В зале воцарилось гробовое молчание. Никто из гроссмейстеров не мог дать ответ на этот простой вопрос.

Уникальный сеанс

Как известно, фортепианный дуэт Марк Тайманов – Любовь Брук в середине прошлого века был весьма популярен и у нас в стране, и за рубежом. Но постепенно посещаемость их концертов стала снижаться. Желая вернуть её на прежний уровень, Тайманов выразил желание, чтобы в афишах было добавлено: «Концерт проводится вместе с сеансом одновременной игры на нескольких досках». Перед выступлением гроссмейстер обращался в зал: «Желающих сразиться со мной в шахматы прошу на сцену». Два или три человека (число варьировалось в зависимости от сложности исполняемой в тот вечер программы) садились за установленные между роялями шахматные столики. В паузах в музыке или между отдельными номерами (Брук и Тайманов теперь старались составлять программу из небольших произведений, например, таких как «Мимолётности» Прокофьева или «Короткие пьесы для фортепьяно» Бетховена) ис-

полнители менялись местами. Перебегая от рояля к роялю, Тайманов мгновенно делал очередные ходы. Посещаемость концертов снова резко пошла в гору. Но однажды – это случилось в городе Златоусте – Тайманов проиграл партию десятилетнему мальчику. В местной газете появилась заметка с насмешливым заголовком: «Каков пианист, таков и шахматист!». После этого Тайманов перестал давать сеансы во время концертов. К заметке, между прочим, было приложено фото мальчика, победившего знаменитого гроссмейстера. Его звали Толя Карпов...

Четырнадцатая симфония

Эдуард Гуфельд был балагур, хвастун и весельчак, этакий шахматный Мюнхгаузен, Хлестаков, нет, скорее великий комбинатор Остап Бендер. Вокруг него всегда было шумно, он любил находиться в центре внимания, беспрестанно шутил, устраивал розыгрыши, хотя его юмор иногда носил «материалистический» характер.

Свою красивую победу над гроссмейстером Багировым Гуфельд назвал «Джокондой», охотно показывал всем желающим. Не было издания, где бы он ни опубликовал этот шедевр. Однажды Геннадий Сосонко предупредил Эдика: «Смотри, как бы на том свете тебе не пришлось, уж не знаю, в награду или в наказание, всё время разыгрывать эту партию». Гуфельд согласился с ним, но с условием: «Это зависит от гонорара...»

Но не все розыгрыши Гуфельда были безобидны для его коллег. Свидетелем одного почти трагического случая мне довелось стать во время чемпионата страны 1969 года, где я секундировал Тайманову – именно из него Марк Евгеньевич в конце концов вышел на Фишера. Доигрывание партии Тайманов – Гуфельд было назначено на тот день, когда в Большом зале консерватории состоялась премьера четырнадцатой симфонии Дмитрия Шостаковича. Легко было понять желание пианиста Тайманова побывать на концерте, и гроссмейстер Гуфельд преподнёс ему приятный сюрприз: он сказал, что ради своего друга не будет доигрывать партию в этот день. Не дождавшись официального подтверждения судейской коллегии, беспечный Тайманов уже отправился было на концерт, когда какой-то внутренний голос подсказал ему: а не захватить ли по

дороге в шахматный клуб? Он внял своему внутреннему голосу и правильно сделал. Среди судей не оказалось ни одного меломана, и партия была поставлена на доигрывание. Когда Тайманов поднялся на сцену, его часы уже тикали, а Гуфельд пружинисто выхаживал между столиками.

После турнира я писал: «Было бы несправедливо в чём-либо упрекать Гуфельда, который решил немного подшутить над своим соперником. Строго говоря, Тайманов мог винить только своё пристрастие к Шостаковичу». Но было бы совсем не до шуток, если бы Тайманов получил ноль за неявку на доигрывание и в результате не вышел в межзональный турнир...

Приятные воспоминания

Пианист Марк Тайманов дружил со скрипачом Давидом Ойстрахом. К Тайманову-музыканту Ойстрах относился несколько покровительственно, но в шахматах авторитет гроссмейстера явно перевешивал – великий музыкант играл в силу кандидата в мастера. Друзья часто садились за доску, а закончились их встречи совершенно неожиданно. Выиграв как-то у Тайманова партию в блиц, Ойстрах смешал фигуры и, улыбаясь, заявил:

– Ну всё, Маркуша, на этом мы завершаем наш марафон. Я хочу сохранить приятные воспоминания о наших встречах.

ДВЕ МОРСКИЕ ИСТОРИИ С ФИНАЛОМ НА СУШЕ

История первая (дебют)

В 1988 году железный занавес пал, и все советские люди ринулись за границу. Одни отправились туда навсегда, другие поехали в гости, и только ленивые застряли дома. Никаких характеристик, треугольников, парткомов, месткомов. Единственным пропуском за рубеж стали денежные знаки, которых тогда ещё требовалось не слишком много.

И вот, заполучив необходимое приглашение, мы всем семейством решили посетить вечный город Рим. Маршрут был тщательно продуман – теплоходом из Одессы до Неаполя и далее поездом в

столицу Италии. Таким образом, визит к друзьям-итальянцам удалось совместить с десятидневным морским путешествием.

Отчалив от Одесского порта, мы пустились в дальний путь завоёвывать чужестранные земли и вскоре, как водится в долгих странствиях, обрели массу новых знакомых. А одним из самых симпатичных был Виктор Готлиб, ленинградец, решивший навестить своего бывшего земляка, который нашёл в Париже спутницу жизни. И в первый же день выяснилось, что Виктор – близкий друг Марка Тайманова, знает его давным-давно. Тут и я похвастал, что у меня тёплые отношения с гроссмейстером.

И я, и мой попутчик охотно делились воспоминаниями о своих встречах с Таймановым. Прошла неделя, приближалось к концу наше путешествие на «Дмитрии Шостаковиче». Мы с Виктором были почти неразлучны, и тут он не выдержал... Когда все темы были исчерпаны, ленинградец раскрыл одну жгучую тайну, объясняющую, почему Тайманов, хотя и женат на москвичке, всё чаще посещает свой родной город.

– Неужели это правда? – воскликнул я, узнав о том, что некая юная и прелестная особа скрашивает Марку Евгеньевичу белые ленинградские ночи.

– Можете не сомневаться, – подтвердил Виктор. – Мы часто общаемся «семьями», а в этом году даже встречали вместе Новый год.

– И кто же эта счастливица? – я не сдержал любопытства.

– Она прекрасна, – признался мой спутник, – и больше не спрашивайте меня ни о чём. Я и так сказал слишком много.

История вторая (миттельшпиль)

Спустя два года, в 1990-м, мы с сыном снова плыли на «Дмитрии Шостаковиче». На сей раз, правда, конечной точкой путешествия была столица Франции, и поэтому наш морской путь лежал до Марселя. Когда мы разместились в каюте и поднялись в ресторан, за нашим столиком уже сидела молодая девушка весьма приятной наружности. Именно с ней – какая удача! – нам предстояло провести ближайшую неделю.

Наша соседка представилась Надеждой Бахтиной. Вскоре выяснилось, что она не замужем, живёт в Ленинграде, а сейчас направ-

ляется в Неаполь и, значит, сходит на берег на день раньше нас. В попутчице нашей было столько шарма и таилось столько загадок, что мы с сыном оба благополучно влюбились в неё. Правда, шансов на успех у нас было немного. Сыну едва исполнилось десять, и похождения на любовном фронте ещё ждали его впереди. Я же, несколько скованный присутствием наследника, тоже не мог проявить себя в полной мере. Поэтому разумнее было отложить все попытки до возвращения на родину. Тот факт, что Надежда живёт в городе на Неве, обещал хеппи-энд, – я невольно вспомнил о Тайманове.

Теплоход вышел в море, и у нас начались обычные дорожные диалоги – обмен сведениями, поиск общих знакомых и т.д. Слово за слово, и тут я признался, что имею некоторое отношение к древней игре.

– А вам, кстати, не доводилось встречаться с кем-нибудь из шахматистов? – спросил я Надю.

– Кажется, нет. Впрочем, постойте, однажды в компании я краем глаза видела гроссмейстера Тайманова, – припомнила девушка. – Есть такой, я не ошиблась?

– Это мой друг, – скромно заметил я, а про себя подумал об удивительном совпадении – второй раз оказался на «Дмитрии Шостаковиче», и вновь рядом человек из Ленинграда, вновь знаком с Таймановым, правда, на сей раз не попутчик – попутчица...

– Но, кажется, теперь он живёт в Москве, – добавила Надежда.

– Больше времени проводит в вашем городе, – вступил я на скользкий путь Виктора Готлиба.

– Не очень-то это благородно с его стороны, – вздохнула добрая девушка, – насколько я знаю, в Москве его ждёт преданная жена.

– Как бы вам объяснить, – я старался быть деликатным, – в Ленинграде он тренирует подрастающее поколение.

– И из-за этого оставил дома скучающую женщину?

– Тут есть одна тайна, – затуманился я несколько фарисейски, – но поклянитесь, что не выдадите меня.

– Буду молчать, как рыба.

Когда я поведал Наде о ленинградских похождениях Тайманова, девушка была возмущена несказанно.

– Вот уж никак не ожидала от прославленного шахматиста! – воскликнула она.

– Не будьте слишком строги, – сказал я назидательно, – надо знать Тайманова. Личность незаурядная, яркая, к тому же артист, живёт в мире романтиков прошлого века – Шуман, Шуберт, Шопен, натура эмоционального склада, нельзя судить по обычному кодексу.

– Нет, тут не может быть оправданий, – решительно заявила девушка. – И если вам доведётся встретить этого приткого повесу, скажите ему, что одна ленинградка испытала глубокое огорчение.

...Быстро промелькнула неделя, в Неаполе Надежда высаживалась. Я решил торжественно проводить свою пленительную попутчицу. К тому же предстояло узнать заветный номер телефона.

Однако едва теплоход причалил, произошло невероятное – девушка бесследно исчезла. Её не было ни в каюте, ни на палубе, ни в ресторане. Не нашёл я Надежды и на берегу, она просто растворилась в неаполитанском воздухе.

Вновь, как и два года назад, моё морское путешествие было омрачено. И хотя впереди меня ждали Марсель и Париж, я был разочарован, то и дело думал о Наде и её внезапном исчезновении. Признаюсь, прошло немало месяцев, прежде чем я обрёл равновесие. Время, как известно, лечит все раны.

Финал (эндшпиль)

Пробежало ещё три года, и обе морские истории – и о легкомысленном Тайманове, и о целомудренной Бахтиной – ушли в прошлое. Я дал себе зарок никогда больше не путешествовать морем. С гроссмейстером за это время наши пути не пересекались – расставшись со своей московской супругой, он совсем перебрался в город на Неве, взяв в жёны, по слухам, ту самую особу, к которой раньше тайком сбегал из столицы.

Но в 1993 году Тайманов позвонил мне из Ленинграда, попросил встретиться его и отвезти в Шереметьево – он летел в Германию на очередной турнир. Само собой, я выразил готовность, тем более гроссмейстер пообещал, что меня ждёт необычный сюрприз.

И вот в назначенный час я прибыл на Ленинградский вокзал. Мы не виделись несколько лет, поэтому крепко обнялись, обменялись словами приветствия и двинулись по перрону к машине.

– Где же ваш сюрприз? – спросил я.

– Прежде всего займём места, – предложил Тайманов, забираясь в салон. – А теперь взгляните на эту фотографию. Кто-нибудь из этих людей вам знаком?

Я внимательно посмотрел на снимок. Вот Анатолий Собчак, рядом с мэром другие известные лица, но не ими же хотел поразить меня Марк Евгеньевич... И тут моё сердце взмыло и замерло. Я увидел мою давнюю попутчицу, так странно пропавшую три года назад, – Надежду Бахтину. Она была в центре роскошного санкт-петербургского общества.

– Вы имеете в виду эту даму? – показал я на девушку моей мечты.

– Кого же ещё!

– Так вы знакомы!? – В моём голосе прозвучали одновременно удивление и надежда. – Впрочем, Надя говорила, что однажды встретила вас в гостях.

– Теперь мы встречаемся чаще, – сдержанно заметил Тайманов.

– Значит, девушка жива, здорова и даже процветает. Если б ещё знать, куда она исчезла в Италии тем летом, – пробормотал я.

– Это я как раз знаю, – улыбнулся гроссмейстер. – Она села со мной в машину, и мы быстро умчались. Не зря же я ждал её на берегу.

Несколько мгновений я глотал воздух. Потом спросил, почему-то шёпотом (видно, я потерял голос):

– И вы знали о том, что я на теплоходе?

– Как не знать! Скажу больше: я видел, как вы спускались на берег. Именно поэтому прибавил газу.

– Хорошо же вы отнеслись к своему бывшему секунданту.

– Вы должны понять меня. Нам нельзя было раскрываться: всё держалось в глубокой тайне. (Действительно легкомысленный человек! Не я один знал эту тайну).

– Что же вы сделали с этим ангелом? – я ещё раз взглянул на девушку на фото, из-за которой столько страдал.

– Как что? Я женился на ней!

– Вы хотите сказать, что вашу новую жену зовут Надежда Бахтина?

– Её зовут Надежда Тайманова! – поправил меня счастливый муж.

– Поздравляю, - чуть слышно проговорил я и, словно в лихорадке, завёл машину.

Бог с ним, с Таймановым! Он – артист! Опять же Шуман, Шуберт, Шопен... Но какова Надя! Как она осуждала гроссмейстера-вертопраха! Нет, тяжело на этой земле такому моралисту, как я.

Заметив, что я едва держу руль, Тайманов решил подбодрить меня:

– Не грустите. Вы потеряли девушку, но выиграли сюжет для рассказа.

– И вы не будете возражать, если я опишу эту историю? – я несколько воодушевился.

– Разумеется, нет, ведь у неё счастливый конец!

– И в самом деле, хеппи-энд по всем правилам, – согласился я с молодожёном. И мы переключились на шахматные темы.

P.S. Примечательно, что лауреат премии Людвига Нобеля Марк Тайманов включил мой весёлый рассказ в свою автобиографическую книгу «Вспоминая самых-самых...» – высшее признание для автора! (Книга – первая в серии изданий «Русский Нобель», на её обложке изображена известная позиция, в которой Тайманов объявил мат Карпову.)

Александр МАТЛИН

ПРО САШУ И ГРИШУ

Дорогие читатели! Нижеследующие истории открывают мой цикл рассказов про Сашу и Гришу, двух молодых иммигрантов из Советского Союза, приехавших в Америку в семидесятые годы двадцатого века. Оценивая ситуации, с которыми они столкнулись на первых порах, вы, друзья, наверняка вспомните себя и свои первые робкие шаги в новой стране.

Как покупали машину

Саша и Гриша приехали в Лос-Анджелес в середине семидесятых годов. При этом Гриша приехал на два месяца позже Саши, поскольку Саша приехал на два месяца раньше Гриши.

То, что Гриша приехал в ту же страну и в тот же город, не было случайностью. Они были друзьями со школьных лет. Поэтому по прибытии, на первом же приёме в еврейской организации, которую ласково называли Джушкой и которая содержала бедных иммигрантов в первые месяцы их нового существования, Саша соврал, что к нему с целью воссоединения семьи едет его двоюродный брат Гриша. Родство это было, уточнил своё враньё Саша, по материнской линии. А материнская линия, как известно, размыта временем и не сохраняет фамилий, так что проверить обман было невозможно, да никто и не пытался. В те времена в Лос-Анджелесе не было принято врать и было принято верить людям на слово. И Гришу по Сашиному требованию направили в Лос-Анджелес.

Два месяца могут казаться совершенно ничтожным сроком, но не в том случае, когда человек прямо с трапа самолёта бросается в новую жизнь в неизведанной стране. Тут время спрессовывается, как воздух в баллоне аквалангиста, и каждый день становится

равнозначным целой неделе. За первые два месяца пребывания в Америке Саша стал немного говорить по-английски, получил водительские права, купил машину, научился её водить и к моменту прибытия Гриши чувствовал себя рядом с ним опытным, коренным американцем.

– Учти, старик, – поучал он друга, – в этом городе ты без машины не проживёшь. Это первое, что тебе нужно сделать: купить машину. Не бойся, я тебе помогу.

Гриша внимал с восторгом. Водить он, как ни странно, умел; у него были даже советские водительские права, которые напыщенно назывались международными. Но машины никогда не было. Всю предыдущую жизнь машина была Гришиной недосягаемой мечтой. И вот теперь эта мечта становится реальностью. У него было триста долларов; ещё пятьсот, как объяснил Саша, можно было занять в Джушке.

– У дилера машину покупать не надо, – наставлял Саша. – Они все жулики. Лучше найти в газете частное объявление. Только учти, нельзя платить сколько просят. Надо торговаться до последней капли крови.

Гриша испугался.

– Как я буду торговаться? Я же по-английски кроме о'кей и гудбай ничего не знаю.

– Не бойся, старик, – успокоил Саша. – Я переведу.

Объявление о продаже машины, которое привлекло внимание наших друзей, выглядело заманчиво и загадочно. Было сказано, что машина ездит хорошо, но цена не была указана. Были в объявлении непонятные слова «best offer», которые Саша интерпретировал как утверждение, что эта машина есть самое лучшее из всего, что вам предлагается в Лос-Анджелесе.

Продавцом машины оказалась ухоженная пожилая дама со следами тщательно выполненной красоты. Она жила в роскошном доме в Вествуде, одном из самых модных районов Лос-Анджелеса. К несчастью для Саши, дама оказалась не в меру болтливой, что полностью затуманило Сашино ограниченное понимание английского. Даме было скучно, и она была рада представившейся возможности поговорить. Она рассказала, что муж бросил её ради какой-то шлюхи, а потом вдобавок ещё и умер, но это её уже не волновало, и что

дочь ушла жить к бойфренду, который непонятно чем занимается, но явно чем-то противозаконным, потому что ездит на «Мазератти», и что теперь она хочет избавиться от старой машины дочери, так как машина сидит в гараже без пользы, только место занимает, а за страховку надо платить. Монолог продолжался довольно долго, но из всего этого Саша не понял ничего, а Гриша даже и не пытался понять, целиком полагаясь на друга. Не дождавшись, когда дама остановится, Гриша вполголоса спросил Сашу:

– Что она говорит?

– Откуда я знаю! – так же вполголоса нервно ответил Саша.

– Спроси, сколько она хочет.

Тут дама, наконец, прервала словоизлияние, и Саша, сосредоточившись, сумел построить грамматически правильный вопрос:

- Хау мач?

В ответ дама, вместо того, чтобы назвать конкретную цифру, снова разразилась многоступенчатым монологом. Она рассказала, что машина, хоть и старая, но ездит прекрасно, и что её всегда держали в гараже, и что она лично следила за тем, чтобы в машине вовремя меняли масло, а от дочки разве дождёшься, эти молодые люди только и думают о том, как гонять машину по ночным клубам, нет того, чтобы проявить хоть чуточку ответственности и подумать о том, что надо иногда менять масло..., и так далее, и так далее. В процессе монолога она сказала, что готова отдать машину за пятьсот долларов, хотя вообще-то она стоит гораздо больше, а если не верите, то можете сами посмотреть «блю бук» и убедиться в этом...

Саша опять ничего не понял, и, что самое главное, суть монолога, то есть искомая сумма, растворилась в потоке словоблудия.

– Сколько? – спросил его Гриша.

– Чёрт её знает, - сказал Саша, раздражаясь от собственного непонимания.

Гриша понял, что наступил момент истины.

– Всё равно, скажи ей, что это слишком дорого, – распорядился он.

Саша опять сосредоточился на своём словарном запасе и выразил мысль со всей определённой:

– Но. Ту мач.

Дама приняла Шашино заявление неодобрительно; ей казалось,

что она просит весьма умеренно. Она пожала плечами и спросила, сколько, в таком случае, джентльмены могут предложить. Этот вопрос Саша понял и перевёл другу:

– Она спрашивает, сколько ты дашь.

– Значит так, – сказал Гриша. – Больше восьмисот я платить не собираюсь, пусть не надеется. Предложи ей для начала шестьсот.



Числительные Саша знал. Поэтому он изрёк без труда:

– Сикс хандред.

Дама удивилась. Ей показалось странным, что пятьсот – это слишком дорого, а шестьсот, оказывается, в самый раз. Она ещё раз убедилась в том, насколько велико различие в культурах между людьми разных национальностей. Эта мысль подтолкнула её к новому монологу. Она призналась, что, к её глубокому сожалению, она, как большинство американцев, мало знакома с нравами и обычаями других народов, но, тем не менее, относится к ним с большим уважением, и раз уж джентльмены настаивают на том, чтобы заплатить больше, чем она просит, то она, так и быть, готова продать им машину вместо пятисот долларов за шестьсот, как они предлагают, или даже за семьсот, если этого потребуют обычаи их культуры.

Саша опять ничего не понял, но сумел выловить из всего этого жуткого потока многословия два слова: «шестьсот» и «семьсот».

– Плохо дело, – сказал он, обращаясь к своему другу, который смотрел на него расширенными от волнения глазами в ожидании приговора. – Эта сука за шесть сотен не отдаёт. Хочет семьсот.

– Может, за шестьсот пятьдесят отдаст?

– Я не знаю, как правильно сказать «шестьсот пятьдесят», – признался Саша. – Не знаю, надо ли вставлять «энд» между словами «шестьсот» и «семьсот».

– Ну, скажи неправильно, – попросил Гриша. – Она наверняка поймёт.



Эта бестактная просьба возмутила Сашу.

– Ты что, хочешь, чтобы я позорился? – гневно прошипел он.

– Ну ладно, бери за семьсот.

– О'кей, – сказал Саша, обращаясь к даме. – Севен хандред.

Дама окончательно обалдела от этой странной торговли.

– Семьсот? Вы уверены? – испуганно спросила она.

– И ни цента больше! – выкрикнул Саша и категорически стукнул кулаком по столу, чтобы не оставалось сомнений в твёрдости его заявления.

Сделка состоялась. Хозяйка дома осталась довольна, хотя и несколько смущена. Она чувствовала, что злоупотребила обычаями наивных иностранцев, не знакомых с американской культурой. Зато Гриша был совершенно счастлив. Он вернулся домой на своей первой в жизни машине, при этом заплатив за неё на сто долларов меньше, чем был готов заплатить. Что касается Саши, то он был горд своим умением торговаться, да ещё по-английски, и доволен, что смог продемонстрировать Грише это мастерство.

Прошли десятки лет. Гриша состарился, разбогател, и теперь ездит на «Ягуаре» выпуска ещё не наступившего года. Историю покупки своей первой машины он то ли забыл, то ли стесняется вспоминать. А историю покупки «Ягуара» я не буду рассказывать. Поверьте мне, она никакого интереса не представляет.

Как их арестовали

События, которые здесь описываются, происходили в Лос-Анджелесе в середине 1970-х годов. Собственно, никаких особых событий на самом деле не происходило, и уж во всяком случае – никаких событий, заслуживающих вашего внимания, мои дорогие читатели. Просто, в один ясный солнечный день два молодых человека не спеша брели по одной из людных улиц Лос-Анджелеса, а точнее – Западного Голливуда. Для тех, кто живёт или жил в Лос-Анджелесе, нет необходимости упоминать, что это был солнечный день, поскольку почти все дни в Лос-Анджелесе – ясные и солнечные. Людная улица могла быть еврейским Фейерфаксом или бордельной Санта Моникой, или даже Мелроуз, хотя в семидесятые годы Мелроуз не был такой улицей, которую стоило бы упоминать.

Два молодых человека были недавними иммигрантами. Они говорили друг с другом по-русски, а со всем остальным окружавшим их миром – на ломаном, мучительно не дававшемся им английском. Один из них, которго его друг называл Гришей, был высокий, худощавый шатен лет тридцати двух на вид. Он бы мог быть вполне привлекателен, если бы не странное, даже нелепое облачение, выдававшее в нём человека из какого-то непонятного мира. Другой молодой человек, по имени Саша, был увесистым широкоплечим брюнетом примерно такого же возраста или чуть старше. В отличие от своего друга он был одет, как американец, хотя и с некоторым излишеством, держался уверенно и явно старался продемонстрировать эту уверенность своему спутнику, потевшему не столько от жары, сколько от испуга перед незнакомым миром.

К тому времени, когда начался этот рассказ, Саша и Гриша проходили мимо Макдональдса, одного из тех, которыми был полон Западный Голливуд, так же, как вся Америка, а теперь уже и весь остальной мир. Макдональдс привлёк внимание наших героев.

– Ну что, зайдём? – сказал Саша. – Ты не бойся, я здесь бывал, – добавил он, похлопав по спине своего друга, напуганного перспективой войти куда-то, где он не знал бы, что полагается говорить и как себя вести.

Макдональдс был пуст в это время дня. За стойкой молоденькая, вяло жующая негритянка томилась от скуки и не свершившихся



мечтаний её жизни. Другая девушка, мексиканка, вытирала столы.

– Слушаю вас, – сказала негритянка, почему-то обращаясь не к Саше, а к Грише, который от этого испугался ещё больше и умоляюще посмотрел на друга.

От друга пришло спасение.

– Значит, так, – сказал Саша, закрывая Гришу спиной и демонстрируя свою уверенность и свершенство во владении английским языком. – Мы имеем два биг-мака.

– О'кей, – сказала девушка и поставила галочку в блокноте. В те далёкие времена они ещё не тыкали пальцем в компьютер, а ставили галочки карандашом, как при колониализме. – Что-нибудь ещё?

– Да, – важно сказал Саша. – Мы имеем два больших кока.

Конечно, Саша имел в виду кока-колу, но в его произношении сокращённое название кока-колы «соке» прозвучало как «сок», что имеет совсем другое значение. Кто-кто, а уж вы, мои искушённые читатели, наверняка знаете, что это ужасное слово на жаргоне означает, пардон, фаллос.

Девушка вздрогнула и слегка посерела лицом.

– Извините?

– Два больших кока, – подтвердил Саша.

– Ты понимаешь, что он говорит? – сказала девушка, обращаясь к своей коллеге, которая к тому времени закончила уборку и вернулась за прилавок.

– Не очень, – сказала коллега. – Похоже, что он приглашает тебя на свидание. Надо позвать Карлоса.

И набрав в грудь воздуха, закричала:

– Карлос!

На её крик откуда-то из-за кулис появился невозмутимый, тяжёлого сложения мексиканец. Внимательно оглядев наших героев, он обратился к Саше:

– Чем я могу вам помочь, сеньоры?

– Мы имеем два больших кока, – снова повторил Саша.

– Можете гордиться, – сказал Карлос и, повернувшись к девушке, добавил: – Не надейся. Они просто хотят две больших кока-колы.

– Да, – подтвердил Саша. – Две кока-колы. Два больших кока.

Минуту спустя друзья сидели за столиком, Не переставая жевать, Саша сообщил с гордой улыбкой:

– Это называется биг мак. Как он тебе?

– Колоссально, – признался Гриша. – Знаешь, я никогда в жизни не ел ничего вкуснее.

– Ещё бы! Это Макдональдс, самый лучший ресторан в Америке. – Саша выглядел польщённым, так, как будто он лично владел Макдональдсом. – Биг мак полагается есть с кетчупом. Иди, возьми себе кетчуп, вон на той стойке.

– Сколько надо платить за кетчуп?

– Нисколько. Это бесплатно.

– Как бесплатно? – не понял Гриша.

– А так. Бесплатно. Это Америка.

– Колоссально! Сколько штук можно взять бесплатно?

– Сколько хочешь.

– Ну да! – с недоверием сказал Гриша. – Тогда почему ты взял только три?

– Потому что мне больше не нужно.

– Но ты же говоришь – они бесплатно.

– Бесплатно.

– Тогда почему ты не взял больше?

– Не хочу.

К этому моменту Гриша начал слегка раздражаться.

– Слушай, сказал он, заметно повышая голос, – не морочь мне голову. Я понимаю, что ты не хочешь больше, чем три пакетика кетчупа, можешь не объяснять. Но ты же говоришь, что они бесплатно. И что можно брать сколько угодно. Тогда почему ты не взял больше?

– Сколько раз я должен повторять? – сказал Саша, тоже раздражаясь и повышая голос. – Потому что я не хочу больше! Зачем я буду брать больше, если я не хочу?

– Ты что, меня за идиота принимаешь, что ли?! – Гришин голос уже звенел, как набат. – Я знаю, что ты не хочешь больше, можешь не повторять! Но если они бесплатно, почему ты не взял пять? Или десять? А? Почему?

– Тебе что, объяснить ещё раз? – Саша уже не говорил, а почти кричал. Лицо его порозовело. – Ещё раз, да? Трёх раз тебе достаточно? Ну хорошо, я объясню четвёртый раз. Я не хочу больше, чем три пакета кетчупа, понял? Зачем я буду брать больше?

– Зачем? Ты спрашиваешь, зачем? – орал Гриша, размахивая гамбургером. – Я тебе скажу, зачем! Затем, что ты врешь! Люди не дураки! Если бы этот кетчуп можно было брать без ограничения, его бы здесь уже давно не было! На самом деле тут, конечно, следят за тем, сколько ты берешь!

– Идиот! – орал Саша в ответ. – Никто за тобой не следит! Люди, может, не дураки, но ты точно идиот!

– Да? А ты, думаешь, такой умный, если на два месяца раньше меня приехал? Ты сам и есть идиот!

– Нет, не я а ты!

– Нет, ты!

Девушки за стойкой притихли от страха, слушая этот истощенный диалог на непонятном языке.

– Боже мой, – прошептала одна. – Почему они так кричат?

– Не знаю, – в ответ прошептала другая. – Звони в полицию.



Не прошло трёх минут, как послышался вой сирены, перед дверью Макдональдса затормозила полицейская машина, и в зал вошли два рослых красавца в форме, с лицами, ничего не выражавшими, а точнее, выразавшими безразличие. Саша и Гриша притихли. Полицейские приблизились к их столу, и один из них произнёс монотонно, не унижаясь до интонаций:

– Джентльмены, можно вас попросить пройти с нами?

Они молча отвезли Сашу и Гришу в ближайшее отделение полиции, и велели ждать в комнате, где вдоль стен стояли деревянные

скамейки в форме диванов, и за стойкой сидел человек в форме, который всё время писал, не обращая внимания на наших до смерти напуганных друзей.

– Ты знаешь, за что нас арестовали? - шопотом спросил Гриша.

– Понятия не имею.

– Я думаю, за кетчуп, - сказал Гриша. - Наверное, больше двух пакетиков нельзя брать. А ты взял три.

– Может, ты и прав, – признался Саша.

Пришёл один из двух невозмутимых полицейских, отвёл Сашу и Гришу в другую комнату и усадил перед своим столом.

– Вы знаете, за что вас арестовали? – спросил он.

– Знаем, – поспешно ответил Саша. – Мы больше не будем.

– Чего не будете? – не понял полицейский.

– Ничего не будем. Вообще – не будем. Ничего.

– Вот что, ребята, – сказал полицейский без малейшей угрозы в голосе. Он явно начал понимать, с кем имеет дело. – Не знаю, как у вас в стране, а у нас тут, в Америке, не полагается кричать в общественных местах. Это может беспокоить других людей, понимаете? А теперь объясните, что произошло, что заставило вас так кричать.

Саша и Гриша испуганно посмотрели друг на друга и в унисон прошептали:

– Кетчуп.

– Понятно, – сказал полицейский. – Вам не хватило кетчупа. Это бывает, и я вам глубоко сочувствую. Но всё равно, вы могли это спокойно объяснить администратору, а не орать, как гибоны в зоопарке. В крайнем случае, вы могли вызвать полицию, и вас бы немедленно обеспечили кетчупом в необходимом количестве. Понятно?

– Понятно, – обречённо сказал Саша. – Нас посадят в тюрьму?

– Ишь, чего захотели, – сказал полицейский. – Там и без вас хватает. Валите-ка по домам.

И наши друзья, не веря своему счастью, вылетели на улицу.

... Много лет прошло с той поры. Много десятков лет. Саша и Гриша прожили в Лос Анджелесе счастливую жизнь, растолстели, разбогатели, состарились, но никогда больше не повышали голос в Макдональдсе. Впрочем, они там и не бывали.

Как Гриша помогал Саше устроиться на работу

Считается, что дружба между людьми – это великий дар. Так сказал какой-то знаменитый философ или писатель. А может даже, какой-нибудь политический деятель вроде Наполеона или Сталина, точно не знаю. Кто бы он ни был, сказал он это не подумавши. Просто так, сгоряча ляпнул, и теперь все в это верят. Хотя, по опыту Саши и Гриши этот человеческий дар очень даже может обернуться пакостью.

...Дело было давно. Напомню: старые друзья Саша и Гриша, два молодых инженера, иммигрировали в Америку из Советского Союза в середине семидесятых годов прошлого века. Они поселились в Лос-Анджелесе и начали там жить. Вернее, они начали не жить, а искать работу, потому что без работы это не жизнь, в всего лишь её мучительное ожидание. Проходили дни, недели и месяцы, а работы всё не было. И бедняги нервничали и холодели от страха за свою будущую, ещё не начатую жизнь в Америке. В те далёкие семидесятые годы советские иммигранты не знали, что в этой стране можно безмятежно жить, не работая. Волшебное слово «вэлфер» тогда ещё не вошло в их лексикон.

И вот однажды Саша является к Грише поздно вечером без звонка, в состоянии крайнего возбуждения.

– Старик! – кричит он с порога, – кажется, мне засветило!

– Тебе дали в глаз? – пугается Гриша.

– Да нет! Мне светит работа! Понимаешь? Настоящая, постоянная работа.

– Ну да! По специальности?

– Конечно! То есть, я имел в виду – конечно, нет. Кому сейчас нужны инженеры как я? Никому не нужны. Меня берут чертёжником. Тоже неплохо. Сегодня я был на интервью.

– Колоссально! – восхищается Гриша. – Сколько будут платить?

– Откуда я знаю? Наверно, три доллара в час. Если повезёт, может, дадут три-пятьдесят. В любом случае, меньше, чем два двадцать пять они не имеют права платить.

– А что ты должен делать?

– Чертить какую-то фигню, – говорит Саша, не скрывая презрения к своей будущей работе. – Они мне показали образцы. Прими-

тив. Арматура простейших железобетонных панелей. С моей инженерной квалификацией там делать нечего.

– Да, повезло тебе.

Гриша даже вздохнул от зависти. Ему тоже хотелось устроиться на какую-нибудь работу, но пока ничего не светило.

– Слушай, – говорит Саша. – Тебе могут оттуда позвонить на-



счёт меня. Это у них называется «референс». Они хотят поговорить с кем-нибудь, кто меня хорошо знает. Я дал твой телефон. Так что будь готов.

– Что я им должен говорить? – пугается Гриша.

– Откуда я знаю? Что спросят, то и говори.

Действительно, на следующий день у Гриши раздаётся звонок, и мягкий мужской голос с преувеличенной деликатностью просит к телефону Гришу.

– Это я, – говорит Гриша, потя от страха.

– Могу ли я задать вам несколько вопросов относительно вашего знакомого, – говорит деликатный голос и называет Сашину фамилию, приставив к ней «мистер», что ещё больше пугает бедного Гришу.

Далее голос объясняет, что они хотят нанять мистера Сашу на работу, и что правила их компании требуют тщательной проверки всех кандидатов, особенно кандидатов на такую ответственную должность, на которую претендует Саша, и что он будет чрезвычай-

но признателен Грише за информацию о его друге, которая, конечно же, будет сугубо конфиденциальной и никогда не будет разглашена, что также является неукоснительным правилом их компании.

К тому времени, когда он закончил своё вступление, Гриша уже умирал от страха и плохо соображал, о чём говорил деликатный джентльмен, которого он про себя назвал «товарищ мистер». Гриша говорит:

– О'кей.

И незаметно для абонента вытирает пот со лба.

– Тогда, пожалуйста, я перейду к вопросам, – говорит «товарищ мистер». – Как давно вы знаете Сашу (звучит его фамилия)? Как вы с ним познакомились? Какое впечатление он на вас произвёл?

Гриша учился с другом с первого класса. Он стал напряжённо вспоминать, какое впечатление произвёл на него семилетний Саша, когда они познакомились. Впечатления не сохранилось. Единственное, что запомнилось, – как маленький Саша обозвал его евреем, на что маленький Гриша, обиженный, ответил «сам еврей». Позже выяснилось, что оба были правы. Гриша не был уверен, что эта история заинтересует его абонента.

На всякий случай, он говорит:

– О'кей.

– Замечательно! Я записываю ваш ответ. Следующий вопрос: считаете ли вы мистера (опять Сашина фамилия) человеком высоких моральных принципов?

– О'кей, – без запинки отвечает Гриша, снова не поняв вопроса.

– Прекрасно! Проявил ли он себя на работе и в личной жизни как человек, уважающий гражданские права женщин и меньшинств, включая афроамериканцев, латиноамериканцев и гомосексуалистов?

Гриша не сомневался, что Саша, живя в Советском Союзе, испытывал глубокое уважение к правам афроамериканцев, латиноамериканцев, женщин и гомосексуалистов. И Гриша, конечно бы, с радостью это подтвердил, если бы понял, о чём его спрашивал «товарищ мистер». Впрочем, даже если бы понял, то всё равно не смог бы разгадать, какое отношение гражданские права меньшинств имеют к армированию железобетонных панелей. Он опять сказал «о'кей», явно удовлетворив ответом своего абонента. Он сам хотел спросить,

как долго будет продолжаться эта пытка, но не знал, как правильно сформулировать вопрос.

– И последний вопрос, – ласково мурлычет трубка. – Как вы расцениваете его квалификацию чертёжника?

Этот вопрос Гриша неожиданно понял. И осознал, что у него появилась возможность создать своему другу хорошую репутацию.

– Он никакой не чертёжник, – говорит Гриша с гордостью за Сашу. – Он замечательный инженер с восьмилетним стажем.

– Нас он интересует как чертёжник, – говорит «товарищ мистер» и в голосе его звучит некоторая настороженность, которую Гриша воспринимает как знак сомнения в Сашиной квалификации. И чтобы развеять это сомнение и закрепить репутацию своего друга, добавляет:

– Он не просто инженер. Он также кандидат наук.

– Понятно. А как долго, вы думаете, он собирается у нас работать?

– Недолго, – заверяет Гриша, чтобы ещё выше поднять Сашу в глазах его будущего хозяина. – С его квалификацией он быстро найдёт себе настоящую работу по специальности.

Гришин абонент замолкает и после небольшой паузы говорит каким-то замороженным голосом:

– Спасибо за подробную и правдивую информацию.

– Пожалуйста, – говорит Гриша. – А вам не нужен ещё один чертёжник?

– Вы что, тоже кандидат наук?

– Нет, нет, что вы, – отвечает Гриша с максимально возможной скромностью, чтобы, не дай Бог, не выглядеть конкурентом своего друга. – Я даже инженер, честно говоря, неважный. Только и умею, что чертить железобетонные панели.

– Значит так. Запишите адрес и приходите на интервью завтра в два часа дня. До свиданья.

И вот вечером следующего дня Гриша появляется у Саши без звонка и в состоянии крайнего возбуждения.

– Старик! – кричит он с порога, – мне тоже засветило! Меня тоже берут чертёжником!

– Куда?

– Туда же, куда тебя. Будем вместе работать.

– Ты ничего не путаешь? – говорит Саша, начиная подозревать недоброе. – Они говорили, что им нужен один чертёжник.

– Ничего не путаю. Теперь они тебе будут звонить, чтобы ты сделал это... сам знаешь. В общем, чтобы рассказал про меня. Как я про тебя.

– А что ты им сказал про меня?



– Что ты классный инженер и большой учёный, кандидат наук.

– Молодец, спасибо. А что я про тебя должен говорить? Что ты тоже кандидат наук?

– Ни в коем случае! Я им уже сказал, что я простой инженер.

– Ну и дурак, – заключает Саша. – Хочешь работать – надо вовремя соврать.

Через три дня друзья встречаются снова. Гриша говорит

– Ну что, звонили они тебе?

– Нет, – грустно говорит Саша. – Я им сам звонил. Хотел спросить, когда выходить на работу. А они говорят – извините, мы уже наняли чертёжника.

– А про меня говорили?

– Про тебя и не вспоминали. Зачем ты им нужен, если они даже меня не взяли? Не везёт нам с тобой, старик.

Саша вздохнул. Гриша тоже вздохнул и отвёл глаза в сторону. Они ещё немного повздыхали, и Гриша говорит:

– Ты знаешь, кого они взяли вместо тебя?

– Откуда я могу знать?

– Меня.

Тут нам уместно вспомнить, что сказал знаменитый философ или кто-то там еще про дружбу, и посмотреть со стороны, к чему привела дружба Саши и Гриши.

Саша столбенеет. Некоторое время он ловит воздух открытым ртом. Глаза его наливаются кровью, а лицо покрывается розовыми пятнами.

– Сволочь! – орёт он благим матом. – Подлая скотина! Наверно, ты наговорил про меня всякой гадости!

– Сам ты скотина! – орёт в ответ Гриша, стараясь перекричать Сашу, который ещё пять минут назад был его другом. – Я про тебя слова плохого не сказал!

– Сказал, небось, про себя, что ты доктор наук. Конечно, если выбирать между доктором и кандидатом, возьмут доктора.

В общем, происходит отвратительный скандал со всякого рода взаимными оскорблениями и обвинениями, после чего Саша и Гриша перестают встречаться и не разговаривают друг с другом целый месяц. Первым звонит Саша.

– Старик! – радостно кричит он, – я нашёл работу. Я буду инженером!

– Поздравляю! – кричит в ответ Гриша, вмиг позабыв о ссоре. – Где ты будешь работать? Что будешь делать?

– На лесопилке, разнорабочим. Буду возить тележку с досками. У них это называется «инженер по транспортировке пиломатериалов». Если тебе позвонят, скажи им, что я доктор наук.

– Думаешь, поможет?

– Наверняка. Если на работу не возьмут, то хотя бы уважать будут.

...Прошли годы. Гриша сделал успешную карьеру в своей специальности, а Саша – не менее успешную карьеру в бизнесе. Про свои первые мучительные месяцы жизни в Лос-Анджелесе они вспоми-

нают редко. Тем более, что на лосопилку, где надо было возить тележку с досками, Сашу так и не взяли. Но он уверен, что его там уважают до сих пор.

Рисунки Вальдемара Крюгера

Александр Матлин – инженер-строитель, специалист по морским сооружениям и портам. В этом качестве проработал более 30 лет в Америке, а до того ещё 15 лет в Москве, откуда уехал в 1974-м году.

Помимо инженерства, в СССР он занимался тем, что писал рассказы и фельетоны и печатал их, в основном, в журнале «Крокодил».

В последние годы он печатается в сетевых журналах, в еженедельнике «Панорама» (Лос-Анджелес) и других русскоязычных газетах и журналах Америки и Израиля. В Москве в издательстве «Вагриус» вышла книга Матлина «На троих с ЦРУ» – полное собрание избранных рассказов и стихов. В ньюйоркском издательстве Mir Collection – рассказы 2=1 на русском и английском.

Когда два года назад рухнул режим Сильвестрова и сам диктатор с остатками гвардии бежал в Питер, наспех основав там столицу Возрождённой Русской Империи, невнятного полуфеодалного государства с границами, не выходящими за пределы Ленинградской области, честолюбивый Тамерлан ринулся в Россию. Страну бескрайних полей и голубоглазых женщин с льняными волосами. Работоторговля давала неплохой доход, особенно торговля женщинами и детьми, особенно с белой кожей.

Валерий Бочков

Наверное, она спрашивала его об этом. Наверное, она также спросила его что-нибудь в том роде, почему не сделал этого раньше, а не сейчас, когда уже приглашены гости. Или, когда куплены кольца. Или, когда его родители дали добро. Аргументы ничего не значили, она хваталась за любовь, как за соломинку. Наверное, я поступил как последний негодяй, сказал он, но другого выхода не было.

Ольга Кучкина

И мерзавец любой
Точно так же стремится донине
Выходить на разбой,
Прикрываясь любовью к святыне.

Марк Вейцман

В процессе хладнокровного истребления евреев немцы участия почти не принимали. Свидетели этих событий утверждали, что немцев в те дни не видели. «Немецкого порядка» ещё не существовало, комендатуры и прочие атрибуты новой власти ещё не были организованы. И даже когда немцы пришли в те места, где проживали литовские евреи, они в основном умывали руки, стоя в стороне.

Иосиф Мандельбраут

- Ты знаешь, за что нас арестовали? – шопотом спросил Гриша.
- Понятия не имею.
- Я думаю, за кетчуп, – сказал Гриша. – Наверное, больше двух пакетиков нельзя брать. А ты взял три.
- Может, ты и прав, – признался Саша.

Александр Матлин

